Эдвард Радзинский

Моцарт и Казанова

Золотая коллекция АиФ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Со свойственным ему неоспоримым талантом рассказчика в этой книге Радзинский повествует о нескольких встречах с покойным господином Моцартом и о любовных сумасбродствах Казановы.

- Эдвард Радзинский
- Любовные сумасбродства Джакомо Казановы
-
- Несколько встреч с покойным господином Моцартом
-
-
-
-
- Прогулки с палачом
- Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа Вариации на тему «Записок палача»
-
-
-
-

Эдвард Радзинский
Моцарт и Казанова

Любовные сумасбродства Джакомо Казановы

…Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать,
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам…

Анна Ахматова

Старик писал свою книгу промозглыми ночами в холодном замке в Богемии. Старик вызывал тени. Книгу он назвал – «История моей жизни». И начал он ее в год мистический – 1789-й. В тот год там, далеко за окнами замка, в Париже свершилась революция.

Революция должна была похоронить мир, который описывал старик.

Старик работал по двенадцать – тринадцать часов в сутки, и к страшному 1793 году полсотни лет его жизни уже уместились в десяти томах.

Все эти годы до него доходили слухи о парижских ужасах. Прах кардинала Ришелье выбросили из гробницы на парижскую мостовую, и мальчишки, дети парижской черни, развлекались – пинали ногами голову, которая столько лет правила Францией. Мощи Святой Женевьевы – покровительницы Парижа, свезли на Гревскую площадь, изрубили мечом палача на эшафоте и сбросили в Сену. В соборе Парижской Богоматери устроили склад. Принцессу де Ламбаль, подругу Марии Антуанетты, обезглавили, голову воздели на пику, вырвали сердце и тоже воздели на пику. Голову красавицы с запекшейся кровью и выбитыми зубами, ее кровоточащее сердце носили перед окнами венценосной подруги…

Он не знал госпожу де Ламбаль – она, наверное, еще не родилась, когда он впервые прибыл в Париж… Нет, его женщины – те, кого он любил, – уже лежали в могилах. Бог дал им счастье

не увидеть этих ужасов.

Впрочем, не всем удалось сбежать в могилу от встречи с обезумевшей толпой. Принц де Линь рассказал старику, как привезли на эшафот несчастную графиню Дюбарри, возлюбленную Людовика XV. Старик помнил ее совсем молодой – белокурой красавицей. И вот ее, повелительницу сердца короля Франции, волокли на эшафот, а она все молила: «Минуточку, еще одну только минуточку, господин палач!» И толпа хохотала…

Кстати, старик хорошо знал еще одну красавицу (и тоже блондинку), которая пусть кратковременно, но тоже повелевала сердцем короля Франции. И опять прекрасные воспоминания пришли к старику… «Я возрождаю наслаждение, вспоминая о нем…» И он записал эту историю – он снова жил. Малютка О\'Морфи… Бедная О\'Морфи! Говорят, она еще жива, неужели и она погибнет в этом парижском аду? Неужели и ее тело, которое он так помнил… Боже мой, а ведь ей уже за шестьдесят! Когда он впервые ее увидел, ей было тринадцать лет. Она была «грязная оборванка, но он тотчас разглядел в ней безупречнейшую красавицу». В скольких оборванках он умел разглядеть красавиц!

«Ничто так никогда не владело мной, – записывал он, – как женское лицо…» Что значит воистину любить женщин? Это – суметь разглядеть красавицу в каждой… ну, почти в каждой молодой женщине. «В пятидесятом году нынешнего столетия, – записал старик, – я свел знакомство с художником Натье». Как удивительно писал портреты этот Натье! Когда он писал уродливую женщину, он не менял ни единой черты ее лица, но она всем казалась красавицей. Он тогда только что закончил портреты некрасивых дочерей Людовика XV – «и нарисовал их прекрасными, как звезды»… В чем секрет его волшебства? Просто Натье, которому было восемьдесят лет, по-прежнему любил женщин!

Но О\'Морфи была действительно хороша. Старик помнил, как он мыл эту грязную девчонку, как заиграла ослепительная кожа… Малютка позволила ему все за шестифранковый экю, она была покорней барашка. Все, кроме – того. То она оценила в двадцать пять луидоров – так ей велела сестра…

Потом он придумал историю с портретом. Художник изобразил ее обнаженной, она лежала на животе – в позе, которая сводила его с ума. Ну а потом – случайно, совершенно случайно! – портрет показали королю. Ну мог ли Людовик XV – этот гурман, этот коллекционер женской плоти, не потребовать немедленно привезти малютку в Париж? Когда малютка увидела Людовика, она расхохоталась. Изумленный король спросил:

– Почему ты смеешься?

– Я смеюсь потому, что вы как две капли воды похожи на шестифранковый экю!

Эту монету с изображением короля простодушная О\'Морфи хорошо знала – она получала ее после каждой ночи. После каждой их безумной ночи, когда, вкусив все наслаждения, *он* умел оставить ее невинной. Не мог же *он* подсунуть королю испорченный плод!

В 1793 году, когда старик уже закончил десятый том, в Париже казнили Людовика XVI – некрасивого внука Людовика XV (тот был чудо как хорош!). А потом – и красавицу Марию Антуанетту. Старику показалось это предзнаменованием – окончательной чертой. И он прервал свое повествование, и все последующие годы лишь обрабатывал написанное…

Все тот же принц де Линь рассказал ему, как привезли несчастного Людовика XVI на площадь, которая называлось в его времена площадью Людовика XV. Сколько раз старик прогуливался по этой площади… Теперь это была площадь Республики, и вместо статуи короля воздвигли здесь статую Свободы. Она стояла у самой гильотины, и кровь с отрубленных голов брызгала на статую. Сам народ позаботился о примитивном символе – Свобода была постоянно в крови. А потом пришла очередь королевы… Как красива была Мария Антуанетта! В Париже герцог Лозен как-то показал ему два бокала с изгибом совершеннейшей формы – это была отливка безукоризненной груди Марии Антуанетты. И эта первая красавица Европы была совсем седая, когда ее привезли на гильотину. На ее прекрасном лбу был шрам – она разбила голову о низкую притолоку камеры. Она не умела гнуть шею… Ее везли на свидание с гильотиной в грязной телеге, и толпа осыпала королеву проклятиями. А потом палач показал народу отрубленную голову, и в этот миг мышцы лица сократились – голова открыла глаза…

Старик написал гневное письмо Робеспьеру. Он обожал писать. На множестве страниц он обличил злодейства якобинцев и изложил свои заветные мысли: «Деспотизм короля – ничто по сравнению с деспотизмом толпы. Толпа вешает, рубит головы, убивает всякого, кто, не будучи сам толпою, осмелится обнаружить свое мнение…»

Это письмо о деспотизме он попытался вставить в книгу, но, кроме нескольких фраз, все пришлось выкинуть…

Ибо книга была особая.

Он написал в ней страшные слова: «Я пишу эту книгу в надежде, что история моя не увидит свет, я тешу себя мыслью, что в последний момент, образумившись, велю бросить в огонь мои записки. Ежели сего не случится, читатель простит меня,

узнав, что писание мемуаров было единственным средством, мною изобретенным, чтобы не сойти с ума от горя и обид, которые чинят мне многочисленные подлецы, собравшиеся в замке графа Вальдштейна в Дуксе».

«Многочисленные подлецы» не стоили столь страстного обличения. Это были всего лишь слуги. И развлекались они понятной забавой лакеев – издевались над господином, впавшим в ничтожество. Старику это было особенно больно – он был горд.

«Он горд, ибо он – ничто, и не имеет ничего. Если бы он был финансистом или вельможей, то наверняка держался бы попроще», – написал о нем принц де Линь. Да, гордый старик был всего лишь приживалом, которого привез в замок хозяин Дукса, граф Вальдштейн, племянник принца де Линя. Богач граф назначил старика своим библиотекарем и платил ему. Сделал он это потому, что старик был забавен – буквально начинен множеством невероятных историй, которые произошли с ним (как он утверждал) в его бурной жизни… А возможно, еще и по обязанности таинственного братства: и старик, и принц де Линь, и граф Вальдштейн были масонами.

Слуги поняли положение старика и развлекались как могли: украли его единственного друга – собачонку, которую он так любил. Старик обожал хорошую кухню, (принц де Линь называл его «хищником застолий»), а слуги постоянно доставляли ему еду пересоленной или пережаренной. Портрет старика, выдранный из его же книги, они повесили в клозете…

Но наступали и прекрасные минуты, когда в замке появлялся хозяин – граф Вальдштейн – и его гости. Тогда старик торжественно надевал свой бархатный камзол и папский орден – крест, из которого исчезли все бриллианты (давно уже были заложены). Напудренная коса, хищный нос крючком и здоровенный кадык воинственно торчали – как прежде. И на негнущихся ногах, опираясь на палку с тяжелым набалдашником, он спускался вниз.

Вместе с графом Вальдштейном обычно появлялся в замке и принц де Линь – воплощение всех достоинств уходившего века: фельдмаршал, прославившийся храбростью, и, конечно, философ и писатель. Но главное – блистательный рассказчик, украшение салонов, которого, по словам его друга графа Сегюра, «при всех европейских дворах принимали, ласкали и который мог развеселить самое унылое общество».

Сей де Линь весьма желчно описал в своих мемуарах сцену явления старика гостям: «Он был бы красив, если бы не был так уродлив. Однако он высок и сложен, как Геркулес… Лицо смуглое, в его глазах, полных ума, всегда сквозит обида, ярость и

злость… Он редко смеется, но любит смешить…»

Но часто смеялись не над рассказами старика – смеялись над ним самим… «На нем был шитый золотом жилет, черный бархатный камзол – и все засмеялись» (в постреволюционной Европе исчезли и напудренные косы, и парики, и камзолы, теперь носили мундиры и унылое гражданское платье. Мир стал скучным, а старик – смешным). «Он церемонно раскланялся, как обучали шестьдесят лет назад, – и все засмеялись…»

«И хотя самолюбие старика было всегда начеку», обидчивый и гордый, он все прощал – за дальнейшее. После отличного ужина (наконец-то постарались, канальи!) гости начинали просить его «прочесть что-нибудь из *той* книги»… Что бы ни писал принц де Линь, смешливые гости приезжали в замок прежде всего из-за старика – послушать книгу, о которой было столько слухов.

«В ней, сам того не ведая, он превзошел автора „Жиль Бласа“ и „Хромого беса“» – признавался де Линь.

Чтение заканчивалось восторгами, и… гости уезжали. И долго, должно быть, вспоминали старика и забавный вздох Талейрана: «Кто не жил до 1789 года, тот вообще не жил».

И опять старик оставался во власти гнусных слуг, и опять он возвращался в *ту* свою жизнь – до 1789 года.

И снова приходили тени.

Но почему так страшился старик своей книги? Что было в ней злонамеренного?

Старик почитал себя важным человеком. Он описал в книге, как великие монархи удостаивали его беседы. О чем должен писать важный человек? О победах в политике, на поле брани… Старик писал о победах над женщинами. Сюжет его книги – непрекращающееся любовное похождение (и со всеми подробностями!). Некая «эротическая Илиада», как назвал ее Цвейг. Сто двадцать две соблазненные им женщины были ее героинями.

Точнее, сто двадцать две имели имена. Но ко всем этим совращенным Генриэттам, Мими, Терезам, Камиллам, Тонинам, Катеринам и к тем, кого он скромно скрыл под инициалами М. М., К. К. и т. д., следовало прибавить тьмы и тьмы безымянных: «В первые месяцы, что прожил в Дрездене, я перезнакомился со всеми публичными красотками и нашел, что по части форм они превосходят итальянок…»

Формы запомнил, имена – естественно, нет…

Так что в комнате, где он работал, сутками шел карнавал женских теней. Они плыли в исчезнувших колоколах-кринолинах – дамы света, маркизы, графини вперемежку с буржуазками и с потаскухами из самых распоследних борделей. Они исчезали в

некоей гигантской кровати, где обнаженные женские тела, накрытые его телом, изнемогали от страсти…

Впрочем, эта фраза показалась бы ему пошлой. Ибо сам он представлял любовь как некий галантный танец (частая метафора в его книге). Он танцевал со своей избранницей, но, еще не закончив танца, еще сжимая ее в объятиях, уже искал глазами *другую,* следующую.

Да, это был танец. И еще – как это и должно быть в природе – некий круговорот. Любовь всегда требовала денег. Сколько рубашек, платков и панталон пришлось ему купить у Жильбер Боре, прекрасной галантерейщицы, прежде чем он смог приступить к восхитительному: «Я запер дверь, и мы предались любви»!

Он был щедр, он любил одаривать драгоценностями своих избранниц. Но, любя предыдущую, он уже готовился перейти к танцу со следующей, и ему опять нужны были проклятые деньги! Чтобы осыпать знаками благодарности ту, *новую*… Так что иногда во имя следующей любви он вынужден был уступать за деньги любовь предыдущую ее новому избраннику. Например, передав королю малышку О\'Морфи, он получил некоторую сумму… Что делать, надо поддерживать круговорот: деньги должны помогать любви, а любовь – помогать деньгам.

И все-таки оба сравнения – и танец, и круговорот – недостаточны. Перебирая в книге перипетии своей жизни, старик все чаще останавливался на сравнении любви с военной кампанией. Он обожал Античность, преданно почитал Горация, читал Петрония и Овидия Назона. Любовь – война, беспощадная эротическая битва, – так мыслили древние знатоки. «Жалок дряхлый боец, жалок влюбленный старик…» Не пренебрегал он и опытом современников – недаром во время обыска инквизиция нашла у него на ночном столике лучшие наставления по эротическому бою: «Картезианского привратника» (самый непристойный роман его века) и «книжечку соблазнительных поз Аретино».

Конечно, это была битва! И как положено в сражениях, все решала стремительная атака. Надо было только не упустить случай. Взять хотя бы его победу над Мими Кенсон. Он застал ее одну, спящую на постели… Что сделал он? «Стремительно разделся, улегся, а остальное понятно и без слов».
Любовь – это битва, где *он* жаждал победить, а *она* — быть побежденной. Но иногда в сражениях возникали сложнейшие ситуации, и решить их было под силу только великим воинам…

И опять старик видел воды Большого канала, гондолу, тьму и чувствовал запах холодного морского ветра. Как он тогда ежился

в белом балахоне Пьеро, боялся простудиться на этом ветру, потому что был в поту – он торопился. На острове в домике для свиданий ждала его М. М. – монашенка из монастыря Мурано. Он соблазнил ее совсем недавно и пылал.

Он нетерпеливо открыл ключом дверь и увидел божественную М. М. Она стояла у камина спиной к двери. О, счастье!

Она повернулась, и… о, проклятье! Перед ним была, увы, не М. М., перед ним стояла К. К.!

К. К. тоже была монашка и тоже из монастыря Мурано. И он тоже ее соблазнил… но давно. Он знал: нельзя войти дважды в одну и ту же реку. К. К. осталась в прошлом, сейчас он пылал страстью к М. М.

Как все военные задачи, ситуация требовала быстрого решения. Во-первых – тактического. Чтобы продолжать кампанию, он должен был незамедлительно понять: каким путем очутилась К. К. вместо М. М. И он понял это сразу – недаром побывал во многих битвах. Что делать – мужчины, у которых много женщин, имеют обыкновение дарить им одинаковые подарки… Да, это все проклятый медальон! Недавно он подарил М. М. золотой медальон. А когда-то давно он преподнес К. К. золотое кольцо. По мужской торопливости и кольцо, и медальон побывали у одного и того же ювелира. И конечно, опытная М. М. тут же начала расспрашивать ничего не подозревающую К. К. о ее кольце.

Когда К. К. восторженно рассказала о бесконечных любовных сумасбродствах дарителя, М. М. не требовалось ничего более. Она уже знала: на такие подвиги способен только один человек во всем мире! И она решила ему отомстить – прислала вместо себя К. К.

Нет, он ничего не имел против этой красотки, но сейчас он жаждал только М. М.! Между тем новые тактические задачи сыпались градом: он узнал, что скромница К. К. не просто дружите М. М., но порой «является для нее женою, либо муженьком».

Но это его не испугало – «такая любовь лишь забава, лишь заблуждение чувств». Страшное было впереди: оказывается, М. М. любит французского посланника, очаровательного аббата де Берниса (а не просто спит с ним). Проклятье! Но и это он преодолел – сложнейшими ходами в постель к де Бернису была направлена К. К., а сам он остался с М. М. С желанной М. М.!

Победа? О, если бы! Бой продолжался! Он узнает, что любвеобильная М. М. задумала «все сделать общим»: объединить себя, аббата и подругу в одной постели! На это ему открыто намекают. Он может разрушить замысел – достаточно приехать в

дом свиданий. Ибо жалкий де Бернис «не свободен от предрассудков», в его присутствии их общая битва не состоится. Но разве Воин Любви может унизить себя ревностью? Разве дозволят ему сделать это его честь и главная заповедь, с которой он всегда шел в бой: «Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщине»?

И если женщина хочет другого… Тогда он будет мучиться, но не станет мешать ее наслаждению.

На войне как на войне: только честь превыше всего, все остальное – в жертву победе! Дружба? Какая может быть дружба – на войне есть только победа! Как дружил он с графом де ла Тур д \'Овернь! Граф познакомил его со своей любовницей. Излишне говорить, что его сердце немедленно воспламенилось. И он начал военную кампанию, чтобы овладеть любовницей друга. Обстоятельства складываются необычайно удачно: они все оказались в одной карете. Случай опять за него! И тотчас во тьме кареты он бесстрашно начинает излюбленную – стремительную! – атаку: смело завладевает рукой любовницы графа. Излишне описывать все венецианские сумасбродства, которые он проделал с этой ручкой. И все было бы хорошо, если бы рука любовницы графа не оказалась… рукой самого графадела Тур д\'Овернь! Проклятье! Граф рассердился? Какая чепуха – ревность смешна для Воина Любви. К примеру, когда некий маркиз вздумал ревновать свою жену, его моментально бросила любовница. И потому, задыхаясь от смеха, граф попросту обнял Казанову. Потому что граф сам был Воином и понимал: на войне как на войне!

На войне не бывает родственников. Однажды он отбил любовницу у родного брата-священника – восхитительную Марколину, девицу не очень строгого поведения. Тотчас воспылав к ней, он провел уже знакомую стремительную атаку. Несчастный брат обратился к нему с мольбой: «Я разорился из-за нее! Я жить без нее не могу! По какому праву ты отбираешь у меня женщину, которую я так люблю?» Он ответил по-военному: «По праву любви, осел! И по праву сильного!»

Брат-священник, влюбленный в девку… В книге старика и в романах XVIII века в весьма рискованных эпизодах действовали священники, аббаты, монашки. Это – традиция века великих философов-атеистов.

Но также – и результат некоего подсознательного страха. Участники этого вечного пира, именуемого Галантным веком, этого потока сладострастия, ставшего и нормой жизни, и высшим смыслом («Бедра, грудь, маленькая ножка – вот моя религия», – писал поэт), – все это были люди, воспитанные в религиозном

духе. И они пытались примирить свое ежедневное попрание божественных заповедей с тем, что было заложено в их души. Чтение о прелюбодействующих церковниках успокаивало. И они, выходит, тоже…

Было придумано много формул, чтобы оправдаться. «В конце концов, если Господь наградил нас страстями, то смешно им препятствовать», – говорит аббат в сочинении маркиза де Сада.

И еще: в «Опасных связях» – этой любовной энциклопедии XVIII века, когда шевалье де Вальмон решает развратить невинную девицу, он начинает ей рассказывать о выдуманных им самим грязных похождениях ее матери. Он их выдумывает, потому что знает: путь к падению девушки лежит через попрание матери. Свергнув мать с пьедестала, легко добиться радостного разврата от дочери.

Пороча авторитеты, они подсознательно убивали в себе страх перед распутством.

Но за все должно быть заплачено. И революция, которая свершится в конце Галантного века, с ее невиданной кровью, истреблением множества участников галантной оргии, будет тоже платой.

Ибо они забыли: все позволяемо, но не все позволено.

Прекратив писать в 1793 году, все последующие годы старик правил свое сочинение. И в 1797 году, презрев высказанное намерение уничтожить свой труд, он попытался издать свою «Историю» – послал первый том в Дрезден графу Марколини, премьер-министру Саксонии. Но граф величественно не ответил – впрочем, это и был ответ. Более старик не возвращался к работе. Он стал ждать смерти…

Он умер в начале лета – в первых числах июня 1798 года, и почитатель его принц де Линь, и граф Вальдштейн не приехали проститься со стариком. Все те же подлецы слуги и приехавший из Дрездена муж племянницы Карло Анджолини отвезли его на кладбище.

И в церковной книге записали: «Казениус, венецианец, 84 года». Перепутали и имя, и возраст – кому интересны имя и возраст смешного нищего старика…

Осталась рукопись. Она лежала в библиотеке. Принадлежала она графу Вальдштейну – еще в 1789 году он заплатил своему библиотекарю за все будущие произведения – до его смерти.

Но Карло Анджолини решил иначе: в конце концов, после старика должно хоть что-то достаться родственникам. И он забрал рукопись, на титульном листе которой стояло: «Жак Казанова де Сейнгальт, венецианец. История моей жизни».

Похищенную рукопись Карло держал у себя, никому не

показывая. Видимо, он ее прочел и не был уверен, что такие воспоминания полезны для репутации семьи. Он отказал и графу Марколини, вдруг решившему купить ее за целую тысячу талеров. Но к счастью, в начале двадцатых годов Карло срочно понадобились деньги, и он продал за жалкие двести талеров все десять томов Фридриху Брокгаузу, основателю знаменитого книжного дома.

В 1822 году появились первые тома.

И мирно почивавший двадцать четыре года в гробу старик восстал. Молодой, яростный, щеголяющий бесстыдством, окруженный нагим хороводом, – он явился в мир!

Его настоящее имя – Джакомо Джироламо Казанова. Шевалье де Сейнгальт – это он придумал.

Иногда еще он называл себя графом Фаруси. Фаруси – это истинное имя его деда по матери, правда дед был не графом, а сапожником. Дочь этого сапожника Дзанетта Фаруси стала актрисой и вышла замуж за актера Гаэтано Казанову в 1724 году. И, как водится в хороших семьях, уже через год у них родился первенец – Джакомо.

Его младшие братья изберут себе вполне благонамеренные профессии. Один станет священником, другой, Франческо, – знаменитым живописцем, членом Французской Академии, гордостью матери. И до смерти Джакомо будут называть «братом того самого Франческо Казановы». Ничего, Джакомо с ним разделается в вечности – в «Истории моей жизни» он напишет презабавную сценку: зеваки поносят картину его брата, не зная о его присутствии.

Само свое рождение Казанова описал насмешливо: «Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля второго числа, на Пасху. Накануне донельзя ей захотелось раков. С тех пор я до них большой охотник».

Казанова должен был стать священником. Он даже учился в семинарии, но «ночные шалости» (так он сам их называл) подвели… Он был исключен.

Правда, по его словам, к тому времени он… уже окончил университет в Падуе и даже защитил диссертацию по юриспруденции! Как все образованные люди Галантного века, он знал языки – латынь, древнегреческий, древнееврейский, испанский, французский. Немецкий знал хуже, но вполне сносно.

Ему еще нет девятнадцати, а он уже сообщает о множестве своих профессий – был семинаристом, военным, клерком у адвоката, служил у посла, у кардинала. Путешествовал по Востоку – Корфу, Константинополь… Впрочем, в Турции он чувствовал себя пре-отвратно, ибо не знал языка и оттого был лишен главного своего

оружия – блистательного рассказа…

Ах, эти рассказы Казановы!.. «Я провел две недели, разъезжая по обедам и ужинам, где все желали в подробностях послушать мой рассказ о дуэли с гетманом Браницким. Частенько там бывал и король».

Шпага – хорошее оружие, но главное – язык. В театрах, в салонах, в трактирах его голова горделиво торчит над слушающей толпою (он отметил в книге и свой рост: метр восемьдесят три). Его слушают, как завороженные, – Казанова рассказывает!

Но голова уже начинает блудливо вертеться – ищет достойную партнершу для боя. Нашел! Теперь он уже рассказывает, не отрывая взгляда от *нее.* В его любовных битвах беседа всегда была артиллерийской подготовкой, после которой ослепленного, восхищенного противника можно брать первой же стремительной атакой…

При этом он – кладезь знаний. Давно уже не учась ничему, он постиг все. Он специалист по финансам – организует лотерею, объясняет королю Фридриху Великому, как взимать налоги. В беседе с тем же прусским королем он рассказывает, как строить каналы, в Митаве высказывает некоторые идеи по рудному делу, в Париже основывает ткацкую мануфактуру… Он – математик, теолог, астролог, великий знаток оккультных наук и Каббалы. Он уже не думает, кем ему стать – он стал всем.

Он – искатель приключений, он принадлежит к могущественному племени, которое назовут *авантюристами*…

Это было время Великой Европейской Скуки. Семилетняя война закончилась, и знатные господа попросту умирали с тоски, не представляя, чем теперь заниматься. Все эти жалкие правители немецких карликовых государств томились в своих убогих дворцах, пока не появлялись *они* — великие развлекатели, Звезды Авантюры. Калиостро, он же полуграмотный сицилиец Бальзамо… Шевалье де Эон, каковой иногда появлялся в виде женщины и тогда соблазнял мужчин, а иногда – в виде мужчины и тогда соблазнял женщин… Таинственный Сен-Жермен, который рассказывал, как он жил во все века, и все в это верили, а маркиза де Помпадур счастливо показывала мазь, которую дал ей Сен-Жермен. Она должна была сохранить лицо маркизы в состоянии «статус кво». И, старея, она упорно видела «статус кво» на своем морщинистом лице… Девиз у развлекателей был общий: «Есть состояние, которое протратить невозможно, – это человеческая глупость».

Но, пользуясь ею, Казанова искренне жалел глупцов.

Один из самых занятных рассказов в его «Истории» – как он

одурачил семидесятилетнюю маркизу де Юфре. Он обобрал богатую старуху, помешанную на оккультных глупостях, – обещал ей зачать сына, в которого она должна была переродиться. Но и плутуя, Казанова остается человеком чести на своем поле боя. Он не имитирует любовное сражение – даже со старухой! Он честно бьется с древним телом. В трудные минуты этого печального сражения он вводит в бой резерв – любовницу Марколину, которая своими ласками поддерживает изнемогающего Воина. И Марколина, «использовав все, чем славятся питомцы знаменитейшей из школ любви – венецианской школы», помогает Казанове победить! Но восторг старой безумицы, когда он сообщает, что его «солнечное семя» проникло в нее и вскоре она родит самое себя, заставляет Казанову на мгновение почувствовать укоры совести. Однако он тут же успокаивается пленительной фразой: «Не я, так кто-то другой ее одурачит. Так что лучше пусть верит в свое бессмертие, иначе из счастливейшей я сделаю ее несчастнейшей…»

Все это время он разъезжает по свету. Вы можете представить его в Венеции, на Корфу, в Турции, Германии, Голландии, Швейцарии, Испании, Италии, Франции… И даже в Москве или Петербурге – там он тоже был. Как правило, его странствия кончаются печально. Из Лондона ему приходится бежать, спасаясь от виселицы. Его высылают из Флоренции, Вены, Варшавы, Парижа. В Барселоне его сажают в тюрьму, и в Венеции тоже…

Великая сила гонит его по разным странам, ввергает в преступления, заставляет шулерничать, подделывать векселя, драться на дуэлях. Страсть к *ней* — тысячеликой Женщине.

Голодная страсть, вечный поиск, гон – ради мелькнувшего личика, чувственного рта, женского смеха, обнажившейся груди, наконец, просто ради контура женского тела! Его самое прекрасное приключение – с красавицей Генриэттой – начинается с полуоткрытой двери. Он видит в проем только контур женского тела, накрытого простыней. И все! И этого достаточно – он уже загорелся! Собравшийся уезжать Казанова велит распрячь лошадей, багаж возвращен обратно – он остается…

Только не забудьте подставить главное слово – *новое.*
Ради *нового* личика, ради *нового* смеха, ради *нового* контура *нового* тела… Женщина может его остановить, но не может удержать, никакая женщина не стоит свободы, хотя бы потому, что свобода – это новые женщины, счастье нового тела… Вечный гон за новым, в конце которого его, улыбаясь, поджидали две подруги – старость и смерть.

Свою жизнь этот отпрыск комедиантов описывает как театральную пьесу в трех актах. Первый он заканчивает,

приближаясь к своим сорока годам. Второй должен был завершиться, приближаясь к шестидесяти. И третий акт пьесы он предполагал окончить в замке в Дуксе. Акт, после которого и должен был окончательно опуститься занавес.

«Коль мою пьесу освищут, – с усмешкой прибавляет он, – я об этом… ни от кого уже не услышу…»

Старая идея «Жизнь – театр» стала расхожей банальностью после знаменитой шекспировской фразы. Но обожатель Античности Казанова пьет из другого источника. Это император Август, умирая, спросил с улыбкой: «Хорошо ли я сыграл комедию жизни? Если хорошо, то похлопайте и проводите меня туда добрым напутствием».

Первый акт пьесы написан им целиком – в нем тесно от поверженных женских тел и от самых невероятных приключений. Побег из страшной венецианской тюрьмы Пьомби, куда он на пять лет был заточен судом инквизиции, – чудо изобретательности. Он умудрился бежать ночью через свинцовую крышу… Каждый раз, приехав в Венецию, я шел на площадь Святого Марка. И, глядя на Дворец дожей (там находилась его тюрьма), все представлял, как, отогнув свинцовые пластины, вылезает он на крышу и под луной сидит на ее коньке… чтобы уже вскоре, едва избавившись от страшного заточения, лезть под юбку к «донельзя хорошенькой девушке», имя которой он узнал мгновение назад. И хотя излюбленная стремительная атака в тот раз была безуспешна, и очаровательный противник дал достойный отпор, уже вскоре он смог написать привычное: «Познал счастье в объятиях мадемуазель Терезы де ла М-р…»

…В тридцать девять лет, перед самым концом первого акта, с ним происходит нечто ужасное. Он встречает в Англии молоденькую шлюху и моментально загорается – обычный пожар Казановы.

И действует он по обыкновению: приступает к решительной атаке. А вот дама поступает необычно: к предмету вожделения Казанову не допускает. В неистовстве страсти он пускает в ход деньги, даже насилие – на войне как на войне! Деньги она принимает, но… Обобрав Казанову, негодница ускользает. Более того, дарит предмет неистового вожделения Казановы жалкому ученику парикмахера, и совершенно даром, и на глазах у Казановы! И все потому, что тот – *молод.*

Звонок прозвенел – акт заканчивается при первой встрече со старостью. Впервые Воин терпит поражение. Казанова описывает это, как крушение Рима. Он жалок, он рыдает, он готов покончить с собой, он не знает, что делать.

История безнравственная? Удивительно нравственная! Более

того – поучительная. Весь первый акт Казанова безудержно соблазнял, обманывал мужей, женихов, обирал всех этих простофиль. И главное оружие его распутства – сверкающая молодость, неутомимая в любовных битвах. И вот накануне сорокалетия грешник получает возмездие: его бьют его же оружием. Чужая молодость обманула его, обобрала, повергла в прах!

Так нравоучительно падает занавес после первого акта.

Второй акт стал последним в книге. Свою комедию жизни Казанова бросает на его середине – не дойдя даже до своих пятидесяти лет. Жаль. Акт обещал быть весьма любопытным…

Кто этот пожилой господин, опирающийся на трость с золотым набалдашником, разгуливающий по грязным кабакам и по литературным салонам? Говорят, он недавно вернулся в Венецию. Но и в кабаках, и в салонах при нем побаиваются говорить. Рассказывают, что прежде за ним водились грешки перед инквизицией. И будто теперь, доказывая свою лояльность, испытывая нужду в деньгах, он сам доносит инквизиции о чтении запрещенных книг, о вольных беседах..

Господин тихо живет с белошвейкой, скромной простолюдинкой Франческой Бускини, и если иногда посещает бордели, то редко, и ходит только к дешевым, немолодым проституткам. Господин экономен.

В архиве инквизиции будут найдены доносы ее штатного сотрудника, подписывавшегося «Антонио Пратолини». Это ужасно, но в 1780–1781 годах под этим именем доносил пятидесятипятилетний Казанова…

Может быть, поэтому он не смог дописать второй акт?

И все-таки не прожить ему долго на одном месте: он опять в опале. Не дожидаясь худшего, этот Вечный Жид бросает Венецию, продолжает скитания по Европе: Вена, Париж, Франкфурт, Берлин, Прага… Он мечется в поисках денег, работает жалким секретарем у венецианского посла. Тот умирает – и снова безденежье. Казанова даже решает… уйти в монастырь и стать монахом!

Наконец в 1785 году его подбирает граф Вальдштейн и дает ему место библиотекаря в своем замке Дукс в Богемии.

В замке Казанова услаждает хозяев бесконечными рассказами о юном Казанове.

Их начинают пересказывать в салонах. И другой блистательный рассказчик, принц де Линь, придает им все новые и новые подробности. Слава о жизни Казановы, о его эротических подвигах распространяется в Праге и в Вене. Граф начинает привозить гостей в замок, угощать их рассказами Казановы.

Пристойными (о побеге из тюрьмы, о дуэли с гетманом Браницким) и непристойными, которые приводят в такой восторг де Линя и всех столичных сибаритов. Казанову даже вывозят в Прагу – потешить тамошних друзей графа. Как он был счастлив после скуки Дукса!

Именно тогда и произошла эта встреча.

В то время ди Понте – либреттист Моцарта – писал либретто для оперы «Дон Жуан». И директору театра, заказавшему оперу, пришла в голову мысль: устроить встречу с Казановой. Кому, как не Казанове, «специалисту по донжуанизму», объяснить Моцарту и этой продувной бестии ди Понте, что такое Дон Жуан!

И встреча состоялась.

Казанова, который за деньги учил когда-то даже горнорудному делу, естественно, надавал много полезных советов. Но представляю – с какой улыбкой! Уж он-то знал: нет более далеких друг от друга типов, чем Казанова – герой его «Истории» – и Дон Жуан. И об этом напишут все исследователи.

Дон Жуан – образ, созданный в отсветах инквизиции. Главная задача Дон Жуана, цель его обольщения – сдернуть с женщины лживый покров невинности, доказать ей самой, что под ним – одно сладострастие, одна жажда греха. И завоевывая женщину, и разоблачая ее похоть, Дон Жуан повергает ее в отчаяние и раскаяние.

За похождениями Дон Жуана мерещится охота за ведьмами.

Недаром женщины Дон Жуана так его ненавидят. Недаром стараются предупредить друг друга об этой смертельной опасности, об этой проказе по имени Дон Жуан, которая надвигается на несчастных дам!

А Казанова – это совсем другое. Это приглашение к галантному приключению, к плотской радости: «Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщине».

Казанова может с полным правом повторить слова принца Филиппа Орлеанского: «Запрещено все, что мешает наслаждению!»

Казанова – лишь сон, который не может стать обыденной жизнью. Может ли Казанова стать мужем? Может ли дождь принадлежать одному полю? Пчела – одному цветку? Его удел – радовать всех женщин, он их общее достояние. И женщины Казановы радостно передают его друг другу, они делятся им друг с другом. Его никто не ревнует, ибо нельзя ревновать облако. Он нереален, как счастье… Впрочем, в одной стране его все-таки приревновала женщина. И так безумно, что чуть не убила. Женщина эта жила в России.

Я все представляю, как, заканчивая беседу, ди Понте поведал ему о возмездии Дон Жуану, о том, как этого развратника утягивает в ад рука Командора. И как усмехнулся Казанова. Нет, Казанова знал – страшен не Командор, есть нечто пострашнее. Это – *старость.*

И в старости, глядя на свой портрет, он напишет горчайшие слова: «Я не существую. Я лишь существовал когда-то…»

Тайна

Но *кто* это все написал?

Какой странный вопрос, не правда ли? Это написал Казанова.

а кто он был, этот Казанова? Кто был этот восхитительный боец, победивший полки красавиц? Старик, который умер в замке Дукс, написав «Историю моей жизни»? Или…

Или всего лишь литературный персонаж – герой «Истории моей жизни», в которого старательно играл жалкий нищий старик по имени Казанова? Обольстительный персонаж, из-за широкой спины которого лишь на мгновенье вынырнул совсем иной образ – пожилого осмотрительного господина, отправлявшего в тюрьмы людей ради спокойной жизни в достатке…

Образ автора?

Читая книгу, написанную Казановой о его жизни, я все чаще ловил себя на странных мыслях. Они появились не потому, что, согласно его словам, он уже в двенадцать лет учился в падуанском университете и в восемнадцать защитил диссертацию. Не потому, что вся история его побега из тюрьмы упоительно фантастична; не потому, что французский посланник де Бернис, которого Казанова уложил в постель вместе с М. М. и К. К., никакого отношения к ним не имел; не потому, что маркизе де Юфре было вовсе не семьдесят лет, а всего лишь пятьдесят с хвостиком, да и умерла она на десять лет позже, чем схоронил ее Казанова в своей книге; не потому, что множество его любовных приключений являются попросту пересказами анекдотов XVIII века (мы их найдем и в «Хромом бесе», и в эротических романах). Но потому, что однажды я *внимательно* перечел его биографию.

И некое обстоятельство в ней меня поразило.

Именно тогда мне еретически стало казаться, что тот фантастический авантюрист, которого он изобразил в своей книге, и тот, кто писал эту книгу, – весьма разные люди… Все дело в том, что среди многочисленных своих профессий, которые указывает Казанова, он лишь вскользь говорит об одной, хотя она проходит через всю его жизнь.

Однако венецианский стукач, который в 1755 году написал донос на тридцатилетнего Казанову, называет ее вполне

определенно: «Говорят, что он был литератор…»

И ведь, действительно, не зря Казанова будет обращаться в Дрезден к премьер-министру графу Марколини, прося напечатать его «Историю». Именно в Дрездене началась (и с блеском!) его карьера литератора.

В 1752 году, когда ему было двадцать семь лет, в дрезденском Королевском театре итальянская труппа поставила трагедию, переведенную им с французского. В том же году вместе с соавтором Казанова пишет комедию, поставленную в том же театре. И тогда же его комедию «Молюккеида» вновь ставит все тот же Королевский театр в Дрездене.

Три пьесы за год – в Королевском театре! И две из них явно имели успех, иначе не ставили бы последующие. А вот третья, скорее всего, провалилась. Ибо более Казанова не тревожил Королевский театр своими пьесами.

Но мы знаем об этих – осуществленных творениях. А сколько должно было быть неосуществленных, пропавших во тьме, в безвестности?

Когда, помирившись с инквизицией, он возвращается в Венецию – он возвращается к перу. Пишет «Опровержение „Истории Венецианского государства“», написанной Амело де ла Уссе, где в нужном для властей духе изложена история республики, и бесконечно переводит…

В 1771 году в Риме его принимают в литературные академии Аркадия и Инфеконди.

И в Триесте он занимается литературным трудом – из-под его пера выходят три тома «Истории смуты в Польше» и роман «Бестолочь».

Он снова в Венеции – и переводит «Илиаду», пишет антивольтеровский трактат, издает сборник «Литературная смесь», где печатает свой рассказ о дуэли с Браницким. И опять переводит множество французских романов – идет постоянная работа литератора!

И с Венецией Казанова рассорится из-за литературных занятий: он перевел роман, который имел успех, но венецианский аристократ Карло Гримальди не выплатил ему гонорар. Как мстит Казанова? Как истинный литератор – пишет язвительный памфлет, после чего и попадает в опалу.

В 1786 году он напишет трактат против Калиостро и Сен-Жер-мена и пять томов скучнейшего фантастического романа «Изока-мерон».

Он работает непрерывно – но бесславно.

Принц де Линь говорит о его сочинениях, написанных до «Истории моей жизни»: «Его писания напоминают старинные

предисловия – многоречивые и тяжеловесные».

Видимо, как литератор он и был представлен Вольтеру. Отсюда его фраза:

– Вот уж двенадцать лет, как я ваш ученик. И отсюда вопрос Вольтера:

– Какой род литературы вы избрали?

А ответ свой Казанова явно приписал позже:

– Пока я только читаю, изучаю людей, путешествую… Время терпит.

И вот, оказавшись в замке Дукс приживалом, старый литератор придумал, как услаждать хозяев. Он рассказывает им истории своей жизни – бесконечные истории про любовь.

Истории и вправду с ним случившиеся, а также услышанные от других, бесчисленные анекдоты, которые хранит его невероятная память, реальные и нереальные имена, которые соединяются с его фантазиями, – все сваливает он в один котел, все передает ему – герою своих рассказов, молодому Казанове.

Именно тогда он с горечью понимает: зачем изучать историю Польши, Венеции, размышлять и философствовать в «Изокамероне»? Вот что им нравится, вот за что они готовы платить… И он решает записать свои рассказы.

Уже приближаясь к могиле, старый литератор нашел себя. Работая по двенадцать часов в сутки, он открыл законы будущего успеха. Герой должен быть удачлив, публика любит истории о Победителе. О *молодом* Победителе.

Именно поэтому он вовремя остановился на середине своего повествования. Не потому, что боялся своих шпионских дел – кому они были известны! Он просто понял: Победитель не может быть стариком.

Вот откуда фраза в его письме: «Я решился бросить мемуары… ибо, перевалив за рубеж пятидесяти лет, я смогу рассказывать только о печальном…»

И был еще один закон, тоже им открытый.

Казанова-старик хорошо знал людей: если рассказывать им о себе вещи низкие – только тогда они поверят и в высокие. Чтобы люди верили во все его фантастические любовные победы, он решает открыть им «преисподнюю любви», как назовет ее кто-то из исследователей… И он описывает свои бесконечные венерические болезни, мочу в ночном горшке, пот любовного труда – тайную физиологию любви.

Правда, он немного перестарался.

«Остановило меня в моих набегах лишь недомогание, каковым наградила меня одна красавица венгерка… было оно *седьмым по счету»,* – так Казанова пишет о времени, когда ему было только

двадцать пять лет. А впереди была еще целая «эротическая Илиада»!.. Нет, не создать бы ему эту книгу, не осилить, приближаясь к семидесяти годам, труда по двенадцать часов в сутки, требовавшего физической мощи и главное – памяти, если принять на веру такие сообщения…

Все была игра, все была – литература!

Но, рассказывая о Победителе, литератор Казанова не забывал о морали, как не забывали о ней создатели Дон Жуана, отправляя своего героя в преисподнюю. Порок – пусть самый обольстительный – должен быть наказан! И оттого в конце первого акта книги и появилось то самое наказание героя – коварной шлюхой.

Итак, он был сочинен, молодой Казанова, как был сочинен молодой д\'Артаньян.

Д\'Артаньян побеждал на полях битв, и Казанова – на полях битв (в бессчетных постелях). Великие истории о Победителях!

Но «тикали часы», и «весна сменяла одна другую». Закончился XVIII век. И те, кто отрубил голову королю в Париже, уже успели порубить головы и друг другу. И все это время в столице Франции сбрасывали статуи – сначала королей, потом революционеров, потом корсиканца, сменившего этих революционеров… А потом все статуи возвратили на место.

К двадцатым годам XIX века эта скучная карусель сменилась мифом. Мифом о Золотом Времени, об утерянном Галантном XVIII веке… Так что книга Казановы, начавшая печататься в 1822 году, поспела вовремя.

И Казанова шагнул в этот новый век, век рантье, в великолепии своих бессчетных любовных приключений, заставив печально вздыхать все будущие поколения женщин.

Юный Казанова в книге старого Казановы сумел соблазнить сто двадцать две женщины. Старик Казанова своею книгой сумеет соблазнить их всех!

Несколько встреч с покойным господином Моцартом

Дневник барона Готфрида ван Свитена

Из письма ко мне пианиста К.

«Я никогда не верил, что Сальери отравил Моцарта. Люди искусства склонны к завышенной самооценке… Если попросить любого из нас чистосердечно ответить на вопрос: „Кто самый-самый?“ – почти каждый ответит: „Я!“

Сальери был такой же эгоцентрик, как все мы. Тем более что, в отличие от нас, он имел все основания считать себя первым. Его превосходство было закреплено уже в его титуле: Первый Капельмейстер империи… Его обожали – и публика, и двор. Его признала Европа. Его опера „Тарар“ шла при переполненных залах. А поставленный следом моцартовский „Дон Жуан“ – провалился. И т. д. Неужели этот самовлюбленный музыкант, да к тому же итальянец… и музыка тогда считалась профессией итальянцев… мог признать первым какого-то неудачника и к тому же немца – Моцарта?.. Да еще настолько позавидовать ему – что отравить? Слухи об отравлении были после смерти Моцарта. Но только безумец мог их связывать с Сальери! Недаром сын Моцарта после смерти отца стал учеником Сальери.

Вы скажете: „Но, говорят, через четверть века после смерти Моцарта сам Сальери признался священнику, что отравил Моцарта. После чего сошел с ума. И попытался перерезать себе горло“.

Если даже поверить в эти слухи, то все происходило совершенно наоборот: Сальери сначала сошел с ума, а потом уже объявил, что отравил Моцарта. Позвольте процитировать то, что писала тогда венская газета: „Нашему многоуважаемому Сальери никак не удается умереть. Его тело подвержено всем старческим слабостям. Разум покинул его. Говорят, даже в бреду больного воображения он винит себя в преждевременной смерти Моцарта. В этот вымысел не верит никто, кроме самого больного старика…“ Кстати, в разговорных тетрадях Бетховена записано обо всем этом: „Пустая болтовня“…

Но в биографии Моцарта был очень странный поворот. Некое стремительное, таинственное падение его карьеры. В 1785 году публика его обожает, и вдруг… все от него отворачиваются… Это был век коварных интриг. Вспомним сюжет „Свадьбы Фигаро“.

Так что вы поймете, что я почувствовал, когда нашел эту

рукопись…»

Все началось в старой московской квартире. Было за полночь, когда старик К. – знаменитый пианист, друг Шостаковича и ученик Прокофьева – сел к роялю.

– Сейчас без четверти час, 5 декабря. Именно в это время 5 декабря 1791 года в Вене умер Моцарт. Я всегда отмечаю эту дату.

Но он не заиграл. Он молча сидел за роялем, потом сказал:

– Одна из таких годовщин стоила мне нескольких лет жизни. Естественно, посыпались вопросы.

– Пожилые люди еще помнят, – начал К., – те удивительные времена, когда в Ленинграде за гроши можно было купить фантастические ценности, награбленные в дни революции из петербургских дворцов. Именно так я приобрел в обычном букинистическом магазине две большие тетради в великолепных обложках красного сафьяна с пожелтевшей от времени бумагой, исписанной бисерным почерком. Рукопись была на немецком. Ее заглавие могло свести с ума любого почитателя Моцарта: «Подлинные размышления барона Готфрида Бернхарда ван Свитена»… Да, да, того самого барона ван Свитена!

Это была загадочная рукопись! В ней было множество фактических ошибок. И в то же время с совершеннейшей точностью цитировались бесчисленные письма Моцарта… Причем и те, которые опубликованы только нынче, только совсем недавно… Я мог часами говорить об этой рукописи, и я рассказывал тогда о ней многим… Но, видимо, слишком многим…

Вскоре я был арестован по совершенно невероятному обвинению… Причем взяли меня знаменательной ночью 5 декабря! Возможно, это был чей-то висельный юмор. Вместе со мной забрали и рукопись… Сразу после смерти Сталина меня освободили… Но рукопись исчезла!.. Мне сказали, что, скорее всего, ее забрал сам Берия… Он был страстный любитель подобных вещей… Возможно, она и была истинной причиной моего ареста… Я много ходил по инстанциям, писал письма – тщетно. И теперь, когда я совсем отчаялся, я дерзнул… Я пытаюсь по памяти восстанавливать текст… И, клянусь, «тень исчезнувшего начинает являться из – под жалкого пера».

Уже уходя, К. обещал показать мне «результаты дерзкой самонадеянности»… Он знал, что я давно пишу книгу о Моцарте.

К. умер через год, и – пусть это не покажется вымыслом – умер 5 декабря 1989 года. И вскоре его вдова переслала мне запечатанный конверт, на котором рукой К. была написана моя фамилия. В конверте была небольшая рукопись с неуклюжим

названием «Моцарт – каким он был». В рукопись была вложена биографическая справка, написанная от руки: «Барон Готфрид ван Свитен (род. в 1734 г. в Голландии). Впоследствии переехал с отцом в Вену. Отец – лейб-медик при дворе Марии Терезии – имел огромное влияние на императрицу. Готфрид стал дипломатом, он был послом при многих европейских дворах. Но прославился не только на дипломатическом поприще. Он был великим знатоком музыки. И даже пытался сам сочинять. Автор двенадцати плохих симфоний. Был другом и покровителем Моцарта. На его деньги Моцарт и был похоронен в могиле для бедных на кладбище Санкт-Маркс».
Далее шел текст, дурно отпечатанный на машинке:

…

«Я, барон Готфрид Бернхард ван Свитен, закончил эту рукопись 5 декабря 1801 года, через десять лет после смерти Вольфганга Амадея Моцарта, императорского придворного композитора, счастливо развившего свой природный талант и достигшего величайшего мастерства в музыке.

Привожу здесь отрывки из моего дневника с моими размышлениями о событиях, коим я был свидетель».

ИЗ ДНЕВНИКА

5 декабря 1791 года

Всю сегодняшнюю ночь я спал. Ночью скончался Моцарт. Его жена Констанца послала за мной служанку, и в три часа пополудни я приехал в его дом на Раухен-штейнгассе в малом доме Кайзера, нумер 970. Это была его последняя квартира. Хочу отметить – за свою жизнь в Вене господин Моцарт одиннадцать раз менял жилье.

Моцарт лежал на кровати, я постоял над ним. Его маленькое, столь подвижное тело наконец-то успокоилось. Изящные руки, которыми он вечно что-нибудь вертел – трость, цепочку от часов, – неподвижны. Густые светлые волосы… единственное, что было красивого в его внешности… освободились от парика. Глаза закрыты, эти блеклые, водянистые глаза… которые загорались восхитительным огнем, когда сей маленький человечек садился к

роялю. У него странные уши – без мочек Широкий лоб покато уходит назад, еще более заострившийся после смерти нос продолжает линию лба, отделяясь лишь небольшим углублением…

Птица, птица… Слабо развитый подбородок закрыт повязкой. Рядом на столике – только что снятая с умершего гипсовая маска… Ее снял мой друг граф Деим – владелец галереи восковых фигур… Он, видимо, надумал сделать фигуру Моцарта для своей коллекции.

Вскоре из соседней комнаты появилась госпожа Констанца Моцарт. О, этот мир и вправду театр… Господин Моцарт, столь любивший театр, был бы доволен разыгранной нами сценой. Привожу ее целиком:

Констанца. Я не хочу жить! Он умер! Он умер!

Я. Дорогая госпожа Моцарт… Вы должны жить, у вас двое детей.

Констанца. Я лягу в его постель, я хочу заразиться его болезнью.

(Добавляю, что врачи определили у Моцарта острую просовидную горячку. Болезнь, опасную для окружающих.)

Констанца. А!!! (Рыдает.)

Она безумствовала, доказывая свою скорбь и отчаяние, надеюсь, они были искренни. Я, как и следовало, ее успокаивал. Впрочем, уже вскоре несчастная женщина заговорила о главном в ее нынешнем положении.

Констанца. Он так страдал, что оставляет нас без гроша… Если продать все, что в доме, мы не покроем и части ужасных долгов. Мне даже не на что хоронить его.

Я. Это очень серьезный вопрос, госпожа Моцарт. Мы непременно его обсудим, но сначала успокойтесь и расскажите подробно, как он ушел от нас.

Констанца. Он пролежал в постели две недели. В последнее время из-за отечности ему было трудно поворачиваться. И я сшила сорочку, которую он смог надевать спереди. Но он не капризничал, никого не беспокоил. Наоборот, старался быть весел, хотя тяжело страдал. Только за два дня до смерти он попросил унести из комнаты свою любимую канарейку, он уже не мог выносить даже звука ее пения… Вчерашней ночью ему стало так плохо… я подумала – умрет, но он пережил ночь. Утром попросил дать ему в постель партитуру Реквиема… Его навестили музыканты. Он попросил их исполнить Реквием. И сам напевал арию альта. Его нежный тенор… Еще вчера в это время я слышала его голос…

Я. Держитесь, госпожа Моцарт.

Констанца. У него не было сил, он отложил партитуру и начал плакать. Проклятый Реквием! Его убил Реквием… Я все время вижу тот жаркий день… Вечером кто-то позвонил… Когда я вышла в прихожую…

Я. Вы забыли, несчастная женщина. Все это вы мне уже рассказывали, и не так давно. Вернемся к кончине вашего незабвенного супруга.

Констанца. Потом пришла моя сестра Зофи. Я ей сказала: «Слава Богу, ты пришла. Ночью ему было так плохо. Если сегодня будет так же – он умрет». И Моцарт ей тоже обрадовался: «Милая Зофи! Как хорошо, что вы пришли. Сегодня я умру, и вы сможете помочь во всех заботах моей бедной Штанци…» Потом он попросил положить ему в кровать часы. В театре в тот вечер давали «Волшебную флейту». И он глядел на часы и все представлял, что показывают на сцене… Потом он стал говорить со своим учеником господином Зюсмайером о Реквиеме. Он объяснил ему, как надо завершить Реквием после его смерти. Он все боялся, что заказчик потребует с нас обратно деньги… Потом Зофи сказала, будто идет предупредить мать, что ночью останется у нас… На самом деле я велела ей пойти в собор за священником… Попросить его зайти к нам, как бы случайно. Священник пришел и приготовил его к смерти… Потом стало ему совсем плохо. Доктор Клоссе велел отворить ему кровь. И наложил компресс. После этого Моцарт потерял сознание и уже в себя не приходил… Он все раздувал щеки, видимо подражал литаврам. Без памяти, он продолжал сочинять. Он знал, как мы бедны, и все хотел для нас заработать… Потом я отошла к новорожденному.

(Добавлю: в июле у госпожи Моцарт родился сын. Кажется, у нее было семеро детей, из которых в живых осталось двое.)

Констанца. Зофи рассказала: примерно в полночь Моцарт приподнялся на постели. Он смотрел неотрывно. Видимо, перед ним было какое-то удивительное видение. Потом он снова улегся на постель, отвернул голову к стене и задремал. Зофи окликнула его, он не ответил. Он умер.

Я. Когда это случилось?

Констанца. Зофи тотчас взглянула на часы… Было без пяти час пополуночи.

Она рассказывала все это, по-прежнему визгливо рыдая. Но, рыдая, она следила за мной. Она ждала. Эта несчастная женщина и в скорби своей не могла не думать о насущных заботах. Я пожалел ее и начал сам:

– Я знаю, дорогая госпожа Моцарт, вам не на что хоронить возлюбленного супруга. Я непременно помогу… **Констанца.** Бог

воздаст вам…

Я. Но, поборов в сердце скорбь, постараемся остаться разумными. Вы совсем молодая женщина, вам не часто приходилось иметь дело с такими печальными обстоятельствами. Позвольте объяснить. После эпидемии чумы наш справедливейший монарх издал строгий закон о похоронах. Похороны имеют четыре разряда: люди знатные, богатые, хоронят своих умерших в отдельных могилах, ставят пышные памятники. Это похороны по первому разряду. Люди нищие обходятся без гробов и хоронят тела в общих могилах. Это похороны по четвертому разряду.

Констанца. Вы… Вы предлагаете…

Я. О нет! То и другое – недопустимые крайности. Я предлагаю нечто среднее. Похоронить незабвенного супруга вашего не как нищего и не как богатого. Но как просто бедного человека… что, как мы знаем, соответствует действительности. Это похороны по третьему разряду: то есть в отдельном гробу, но в общей могиле… Это обойдется всего в восемь флоринов и пятьдесят шесть крейцеров… Добавим три флорина за погребальные дроги… Я охотно передам вам эту сумму.

Констанца. Боже мой… когда у него умер скворец… он похоронил его торжественно… в нашем саду. И похороны скворца обошлись нам в ту же сумму!

Я. Не торопитесь отказываться, госпожа Моцарт. Не только природная бережливость заставляет меня предлагать вам это. Такие похороны привлекут к вам всеобщее сочувствие. Мне будет намного проще добиться для вас пенсии у императора. И ваши кредиторы немедля отстанут от вас. Они поймут, что получить от вас нечего.

Констанца. В общей могиле!.. В общей могиле…

Я. Он был хорошим христианином, то есть скромным человеком. Он одобрил бы такие похороны…

Констанца. Да… Да…

Я. Сейчас постарайтесь подкрепить себя сном, завтра вам понадобятся силы. А я займусь его бумагами.

Так завершилась сцена. После чего она передала мне ключ от бюро французской работы, где лежали его письма и многочисленные партитуры.

И вот тогда я спросил ее о главном: о Реквиеме… Она ответила, что он не совсем закончен… И показала на его пюпитр. На пюпитре я обнаружил листы с его указаниями господину Зюсмайеру, как ему закончить Реквием. Сама же партитура… драгоценная партитура… была разбросана на креслах недалеко от его кровати. Я начал лихорадочно собирать листы и поймал ее

взгляд: она была изумлена моим волнением. Я взял себя в руки…

Наконец она ушла. Я остался наедине с ним. С его бумагами. И Реквиемом. 626 – стояла цифра на Реквиеме. Шестьсот двадцать шесть сочинений написал этот человек, чьи дорогие камзолы, которыми он украшал свое жалкое тело, сейчас разбросаны по комнате. Завтра их продадут со всеми вещами, чтобы выручить деньги для вдовы и сирот.

Его прах также исчезнет… Эти могилы для бедняков очищаются каждые семь лет – освобождаются для новых постояльцев. От его земного существования останутся лишь несколько непохожих портретов и эта маска… Одна, хранящая его земной облик. И стоит разбить ее – останется то, что должно от него остаться: только звуки! И это я… я предпринял столь многое, чтобы звуки, рожденные этим жалким человеком, стали воистину божественными. И никто, даже он сам, не подозревал об этом.

Вот о чем я думал, роясь в его бумагах в ту страшную ночь.

И тогда я услышал его голос. Клянусь, отчетливо звучал столь знакомый тонкий голос… этот нежный-нежный тенор. Я обернулся. Моцарт, конечно же, неподвижно лежал на кровати… Но голос… Голос звучал… И в неверном свете канделябра его камзол и парик, валявшиеся на клавесине, показались мне музыкантом, в отчаянии упавшим головой на клавиши… Я заставил себя продолжать разбирать бумаги. Это были его письма. Вся его переписка с отцом… Вся его жизнь – в этих письмах. И тут я все понял! Да! Да! Это письма. Я читал его письма – оттого я слышал его голос… Все дело в моем безукоризненном слухе! Все услышанные звуки вечны в моей памяти. И письма рождали голоса… Вот густой бас старого Моцарта… Ну, конечно! А это тенор самого Моцарта… И опять звучит старик Моцарт… Я хорошо его знал. Во время поездок в тихий Зальцбург к моему другу архиепископу я неизменно встречался с Леопольдом Моцартом. Он был отличный музыкант – придворный композитор зальцбургского архиепископа. И мы подолгу беседовали с господином Леопольдом о его сыне. И вот сейчас в воспаленном моем мозгу звучали наши беседы. Кстати, вспомнил! Старый Моцарт говорил мне: когда он читает письма своего мальчика, он тоже всегда слышит его голос… Клянусь, это была волшебная ночь, самая волшебная в моей жизни.

Утро. Вернулся домой, с любопытством отыскал в дневнике все записи бесед со старым Моцартом. Особенно примечательны показались две беседы. Привожу их с сокращениями. ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы (Записано в Зальцбурге)*

Леопольд Моцарт. Ему было четыре года, барон, когда я понял: он сочиняет музыку… Однажды я застал его с пером…

«Что ты делаешь?» И четырехлетний ребенок ответил: «Я сочиняю концерт для клавира…» Я расхохотался… Это была пачкотня из клякс, поверх которых были написаны ноты… По детскому неразумению он макал перо в чернильницу до дна. И как только подносил перо к бумаге – падала клякса. И тогда он решительно размазывал ее и уже по ней писал музыку. Но когда я рассмотрел этот узор из клякс, я понял: ноты четырехлетнего мальчика составили сложнейшую музыку. Из глаз моих полились слезы – я возблагодарил Творца. И сказал себе: ты должен посвятить жизнь этому Божьему чуду… Он и вправду был Божье чудо. Все ему легко давалось, и всем он готов был пылко увлекаться. Это главная его черта.

Я. Но пылкость способна увлечь на ложный путь.

Леопольд. Именно, барон. Если бы не строгое воспитание. Я рано научил его упорно и систематически трудиться, обуздывать свою пылкость. И я заставлял его быть скромным, несмотря на все его великие ранние успехи. В детстве он плакал, когда его чересчур хвалили. В семь лет он был уже автором нескольких музыкальных сочинений. Тогда я решил представить его миру. Я взял дозволение у нашего доброго архиепископа, и мы втроем: крошечный Вольфганг, моя дочь и я – отправились по Европе. Две недели мы провели в императорском дворце в Шёнбрунне. Добрейшая императрица Мария Терезия, восхищенная игрой моего мальчика, подарила ему костюм маленького эрцгерцога.

(Добавлю от себя: это был старый, поношенный камзол.)

Леопольд. Мой маленький Моцарт был в нем так забавен: игрушечный человечек в напудренном парике ив красном камзоле со шпагой. Он играл на скрипке, на клавире, который закрывали платком, и на органе. Играл, пока этого хотела публика. Концерты длились по четыре часа. И он часто болел. Я иногда думаю: может быть, поэтому он так плохо рос? Но это был единственный путь. Я не хотел, чтобы он повторил мою жалкую судьбу… Но уже во время этого путешествия я понял, барон, как он опасно пылок. В семь лет он умудрился страстно влюбиться. И в кого бы вы думали? В Марию Антуанетту, нынешнюю королеву французов.

Я. Браво!

Леопольд. Она была прелестной девочкой, чуть постарше Моцарта. И что придумал маленький негодяй? После очередного концерта, награжденный аплодисментами, он вышел из зала и, увидев очаровательную Марию Антуанетту, нарочно грохнулся на паркете. Девочка тотчас бросается к нему, поднимает. И он, будто в благодарность, осыпает ее поцелуями. И тотчас объявляет, что непременно женится на ней – опять же в благодарность за

помощь. Но я разгадал его хитрость, заставил покаяться и пребольно выпорол… А потом был триумф в Париже…

В Париже я велел награвировать четыре его сонаты. И это в возрасте восьми лет… Как сейчас вижу: он стоит у королевского стола и королева передает ему лакомые кусочки. Но больше всего ему понравились королевские дочери. Они охотно его целовали. В восемь лет он обожал, когда его целовали женщины. И когда всесильная мадам Помпадур – высокая, видная блондинка – не захотела его поцеловать, он с возмущением воскликнул: «Да кто она такая?! И как она смеет не захотеть меня целовать, если меня целовала сама королева?!» И мне опять пришлось его выпороть – за дерзость… и пылкость. Когда мы вернулись в Зальцбург, покорив Европу, архиепископ запер его в своем дворце и предложил ему написать музыку к первой части оратории «Долг Первой заповеди». Он не верил, что мой мальчик все сочиняет сам… Мальчик начал сочинять… Он произнес слова Первой заповеди: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем… и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею», и понял, что Он с ним… Вольфганг блестяще справился с заданием… Я воспитывал его в беспредельной любви к Творцу, и это много раз спасало и еще спасет его… Когда ему было двенадцать лет, наш новый монарх – император Йозеф – заказал ему опер… Мальчик был счастлив: опера – это вершина музыкального искусства! И он написал ее… Но премьеры не случилось. Он рыдал! Он не мог понять, что произошло. Так в двенадцать лет он столкнулся впервые с человеческой завистью. Господа музыканты испугались конкурента. Невидимая «музыкальная преисподняя» распространила о его опере зловредные слухи. И великий Глюк, имевший такое влияние на императора, не захотел даже взглянуть на партитуру и объявил издевательством саму идею заказывать оперу мальчику… Мальчику?! Да он в семь лет умел делать то, что другие композиторы – заканчивая жизнь! Я часто ему объяснял: «Полагайся только на Бога! Все люди – сволочи! Чем старше станешь – тем яснее это будет для тебя!»

(Добавлю: он рано научил мальчика видеть всегда и во всем интриги.)

Леопольд. Но все эти поездки по Европе были лишь подготовкой к одной великой поездке. Именно! Италия! Земля обетованная музыки! Если немецкий музыкант хочет занять должность при дворе, он должен получить признание в Италии. И мы поехали. Уже в Мантуе газеты написали: «Этот мальчик затмит всех!» В Милане нам дали удобное пристанище в монастыре. Была зима. У моего мальчика чувствительнейшее тело

– и он был счастлив, когда по возвращении с концерта находил нагретой постель. Это мелочи для другого, но они важны для деликатных натур. В Милане послушать мальчика собралась вся знать Ломбардии. Были исполнены три арии, сочиненные Вольфгангом. Одна потрясла даже меня. Эту большую арию он написал на знаменитый текст великого Метастазио «Несчастный мальчишка» (К. 77).

(Замечу: старик прав. Многие обращались к этому знаменитому тексту. Но никто никогда… не достиг такой возвышенности. «Несчастный мальчишка»!

Неужели уже тогда он сам это почувствовал?.. Да, он так никогда и не стал взрослым. Прежде я думал, что в этом виноват его отец, столь долго его опекавший. Теперь думаю иначе. Это – его суть: с рождения до смерти он – несчастный мальчишка!)

Леопольд. Чтобы не томить вас, барон, я описываю лишь некоторые его триумфы… Мы поспешили в Рим. Как вы знаете, на Страстной неделе в Сикстинской капелле исполняют великое «Мизерере». Я помню, как мой мальчик пришел в капеллу. Нет, нет, он не заметил восхитительных фресок Микеланджело. Он был весь в сладчайшей музыке. Когда мы вышли, я сказал ему: «Под страхом отлучения от церкви никто не смеет вынести из капеллы партитуру „Мизерере“, чтобы никто и нигде не смог исполнить эту вершину папской музыки». Мой мальчик расхохотался. И, придя домой, без единой ошибки с одного прослушивания записал всю партитуру.

(Добавлю: об этой истории много рассказывали в Риме. Я же отмечу: в одной из его квартир в кабинете был великолепный потолок. Я спросил его: «Чья это живопись?» Он удивился, он вообще ее не заметил.)

Леопольд. А потом в Риме ему вручили высший папский орден. К сожалению, он редко надевал эти регалии: золотой крест, шпагу и шпоры. Он сказал: «Мне почему-то смешно». Он всегда был очень смешлив.

Я. О да! Я это знаю.

Леопольд. Теперь он стал кавалер Моцарт. Рыцарь Моцарт. Только великий Глюк был удостоен подобного. А потом мальчика избрали в Академию в Болонье.

Кто знал такое в пятнадцать лет! И тогда я заметил перемену. Он полюбил, чтобы им восхищались… восхищались женщины!.. И я сказал: «Здесь твоя западня». Помню, молодая госпожа де Асте позвала нас на чудные фрикадельки из печени и великолепную квашеную капусту. Но он не восхитился этими яствами – его глаза неотрывно были устремлены на госпожу де Асте. Мне пришлось опять сурово вмешаться.

А потом наш благодетель, старый архиепископ, умер…

(Добавлю: уже тогда меня увлек этот гениальный мальчик. Поток солнечного света… легкое, трепещущее. Как странно, что он не родился в Италии. Я наслаждался его искусством. Но исповедовал тогда иное. Будучи послом в Берлине, я познакомился с музыкой полузабытого тогда Иоганна Себастьяна Баха. С тех пор строгое искусство Баха и Генделя владело мной. И вот тогда мне стала приходить в голову дерзкая мысль: ввести солнечного мальчика в этот полузабытый мир. Какой удивительный цветок мог произрасти! И какое наслаждение ожидало нас, немногих жрецов истинной музыки! Но для понимания строгой музыки потребна строгая жизнь. Слишком много удач принесла ему судьба. Вот почему я весьма оживился, когда узнал, что новым архиепископом в Зальцбурге стал граф Иероним Колорадо. Я хорошо с ним знаком: непреклонная складка вокруг рта, надменный, неподвижный взгляд… И мне нетрудно было уже тогда вообразить, как они встретятся – избалованный славой юный гений и деспот. Сказка закончилась.)

Я никогда не верил, что Сальери отравил Моцарта…

Из письма пианиста К.

ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы (Записано в Зальцбурге)*

Привожу с большими сокращениями окончание моей долгой беседы с отцом господина Моцарта.

Леопольд. Сначала мы были благодарны новому архиепископу: он положил мальчику больше жалованья, чем всем остальным. Но потом стал заставлять его – кавалера Моцарта – каждый день в форменной одежде вместе со слугами являться для приказаний. Нет, я понимаю, он хотел обуздать его юношескую спесь, хотел заставить считать себя благодетелем. Но…

(Добавлю от себя: именно тогда я услышал его соль-минорную симфонию… Эта тревога… дерзкие порывы… мимолетное просветление… И яростный взрыв мятежных сил в финале. О! Я понял тогда, что с ним происходит!)

Леопольд. Все кончилось прошением об отставке. И дело было не только в архиепископе. Я приучил Вольфганга к вечным путешествиям, и он не мог усидеть в нашем тихом Зальцбурге… Архиепископ не разрешил мне отправиться с мальчиком. Но я не мог отпустить его одного. Он поехал вместе с матерью. На прощание я дал ему письмо с главными советами: «Ты знаешь, как ты пылок, и как твоя горячность приводит тебя в волнение… о женщинах я не говорю, но запомни: здесь нужна величайшая сдержанность и весь твой разум. Ибо сама природа является нашей западней: кто не напрягает здесь рассудка, обречен на несчастье, которое кончается только со смертью».

Когда их карета отъехала, в ужасе от предчувствия я бросился на кровать и пролежал неподвижно до ночи. Вскоре я получил его первое письмо.

«Сердце мое преисполнено восторгом и восхищением. Мне так весело в этой карете, так тепло, и кучер наш поет и мчит во всю прыть».

И, читая, явственно услышал я его нежный голос и расплакался.

Все случилось, барон, как я предполагал… Это произошло уже в Мангейме. Сначала я почувствовал в его письмах некий излишний восторг. У него острый язык!

(Добавляю: и сколько он сделал ему врагов!)

Леопольд. Мальчик обожает гаерничать. К примеру, в Мюнхене ночью солдаты на каждом шагу воинственно окликают: «Кто идет?!» И он неизменно отвечает им в ответ: «Накось выкуси!..» А тут вдруг тон писем совсем переменился. Одни восторги и описания бесконечных триумфов… Я написал ему, что одним триумфом сыт не будешь. И что пока никто не предложил ему никакой должности, а я оплачиваю бесконечные счета, которые ко мне приходят. В ответ я получил: «Как мне хочется написать оперу. Я завидую всем, кто пишет оперу. Хочется плакать с досады, когда я слышу какую-либо арию…» Да, да… все дело в том, что он влюбился в певицу! Я знавал эту гнусную семью Веберов. Отец служил жалким суфлером. Хищная, жадная жена и четверо дочерей. На беду маленького Моцарта, вторая дочь – пятнадцатилетняя Алоизия – была высокая, стройная красавица, возмечтавшая стать певицей… Узнав все это, я решил проверить, сколь опасно положение. Я написал ему письмо, будто один из его друзей, знаменитый молодой человек, вступил в выгодный брак. В ответ я немедленно получил просто поэму.

«Так жениться я не хотел бы. Я хочу сделать счастливой свою жену, а не составить с ее помощью свое счастье. Знатные люди не смеют жениться по любви. Зато мы, бедные и простые люди, можем взять в жены ту, кого любим…» И так далее…

Я все понял… После чего он завалил меня описаниями тягот «бедных Веберов»… А я?! Его отец?! Семеро детей! И двести жалких флоринов жалованья на протяжении всей жизни!

(Здесь он достал новый ворох писем… И в продолжение нашей беседы весьма часто читал выдержки из них. Он жаждал сочувствия!)

«Дочь господина Вебера обладает красивым голосом. Ей недостает только умения играть на сцене…»

Вы поняли, барон? Он решил ей помочь! Он помнил, как его принимали в Италии, и теперь захотел показаться ей во всем

блеске! Он задумал общую поездку. С нею в Италию! А пока сочинял для нее арии… Нет, недаром говорят, глуп, как влюбленный! Его несчастная мать прислала мне письмо: «Ты знаешь, когда мальчик завязывает новое знакомство, он сразу готов отдать последнее… Пишу тебе в величайшей тайне, пока он ест… Придумай, что сделать».

Бедная жена! И я написал ему: «Дражайший сын! Твое предложение разъезжать с Вебером и его дочерью чуть не лишило меня рассудка. Как ты мог хотя бы на час обольстить себя столь отвратительной и явно внушенной тебе мыслью?! Мечтания, одни пустые мечтания!.. Как ты мог позабыть свою славу? Своих старых родителей?.. Нет, нет, я понимаю твое желание помочь… Это ты унаследовал от своего отца! Но прежде всего ты должен помогать своим собственным родителям, иначе душа твоя попадет к черту в лапы! Прочь из Мангейма! Марш в Париж! И скорее! Слава из Парижа распространяется по всему свету! Поступай, как великие люди! Или Цезарь! Или ничто!»

И он подчинился. Тогда он еще помнил наш девиз: «За Богом сразу идет отец».

Он написал мне: «Умоляю, наилучший из отцов, не думайте обо мне ничего плохого… Есть люди, которые считают, что нельзя любить девушку, не имея при этом дурных намерений… Надеюсь, вы простите мне, если я в азарте любви в чем-то забыл меру».

Вот в этот момент мой мальчик ушел от меня! Он подчинился мне, но не простил. Бедняга, он, конечно, поехал в Париж с одной надеждой: вернуться к возлюбленной, но со славой!

(Замечу: все, что он испытал, – в его арии, написанной для Алоизии (К. 294). Эта сладкая мука… и тревожное, тревожное предчувствие!)

Леопольд. Но, к сожалению, Париж успел его забыть. Нет, не зря я ненавидел этот город. Никакого заказа на оперу он там не получил. И с трудом перебивался жалкими уроками. Мой французский друг барон Гримм написал мне: «Чтобы здесь пробиться, необходимы пронырливость, предприимчивость и подлость… Думая о его карьере, я пожелал бы ему иметь вдвое меньше таланта и вдвое больше ловкости…»

А потом как-то ночью пришел наш друг аббат Буллингер и положил передо мною письмо. Мой мальчик писал: «Дорогой аббат. В эти душные дни заболела моя мать… Я метался по раскаленному городу в поисках врача и лекарств… Она умерла у меня на руках. Сейчас ночь, и я пишу письмо отцу. Я пишу ему о матери как о живой… Я боюсь, что он догадается. И шучу. И снова возвращаюсь к ее болезни… Я пытаюсь его подготовить к худшему…»

Несчастный мальчик! Через неделю я получил его письмо: «Я пишу вам в два часа ночи. Нашей дорогой матери больше нет на свете. Она умерла, не приходя в сознание, она угасла, как свеча…»

Я звал его в Зальцбург. Архиепископ снова принял его на службу. Но он писал: «Я радуюсь встрече с вами, наилучший из отцов. И наперед обещаю себе приятнейшие, счастливые дни… Но, клянусь честью, я не могу терпеть Зальцбург и его обитателей! Для меня совершенно невыносима их скучнейшая жизнь».

Это означало: он поспешил из Парижа в Мангейм! Я умолял его уберечься от пустых мечтаний. Но он писал: «Совсем уберечься от мечтаний я не могу, да и вряд ли сыщется смертный, который никогда не мечтал. Но веселые мечты! Мечты сладостные и утешительные, мечты, которые, если б сбылись, сделали бы сносной мою жизнь… такую сейчас печальную…»

Но ничего! Вскоре он познал, что означают пустые мечтания! Эта тварь Алоизия пела в Мюнхене, где ею весьма интересовался баварский государь. И мальчик мой, к счастью, был ей теперь не нужен. И она сказала это ему прямо в лицо. О, он смог тогда понять, как всегда прав его отец!.. И у него хватило мужества пересказать мне в письме всю постыдную сцену.

«Я был ошеломлен. Но я не дал ей это заметить, наилучший из отцов. Я сел за клавир и, стараясь перещеголять ее в легкомыслии, вдруг весело, тенорком запел: „Не задумываясь, я бросаю девушку, которой не мил! Ха-ха-ха…“»

Да, он бодрился, но… Совершенно потерянным он вернулся в добрый наш Зальцбург. Я постарался сделать все, чтобы ему было хорошо. В его комнату поставили удобный шкаф для многочисленного его платья, наша кухарка готовила его любимых каплунов. И я сквозь пальцы смотрел, как дочь моего младшего брата… кузиночка… попыталась его утешить.

Он писал ей очень смелые письма, которые негодница поощряла. И поначалу я с изумлением читал все его фривольности.

Но дальше смелых шуток он не пошел. Только потом я понял: он старался быть веселым и дерзким, но по-прежнему страдал. Страдал! И перенес свое отчаяние на наш тихий Зальцбург: он его возненавидел… К сожалению, досточтимый архиепископ на каждом шагу подчеркивал, что мой мальчик отнюдь не гениальный Моцарт, но лишь слуга, которого он приютил после неудач.

(Добавлю: это было счастьем для музыки. Разбитое сердце – так произрастает вечное.)

Леопольд. И во время его поездки с архиепископом в Вену, вдали от меня, случилось то, что должно было случиться: мальчик опять подал прошение об отставке… Я отлично представлял, что будет, коли он станет жить один в Вене… Он – не подготовленный к мерзостям жизни, привыкший быть за моей спиной. Любая шлюшка может предстать пред ним в образе непорочной девы!.. Он слишком чист для этого подлого мира!.. Я потребовал, чтобы он взял назад свое прошение. Но он ответил мне: «Никогда! Вся Вена уже знает, что я ушел от архиепископа и от его оскорблений… И что же, теперь я должен превратить себя в собачье дерьмо?.. Вам в угоду, батюшка, я готов жертвовать всем: своим счастьем…» Алоизия! Алоизия!.. «Здоровьем, жизнью… но моя честь! Она для меня… и, надеюсь, для вас, превыше всего! Требуйте чего угодно, но не этого! Одна эта мысль заставляет меня дрожать от ярости…»

О, я знал, что наш гордый архиепископ сумеет наказать его. Но я не знал, что это будет столь варварски.

Сначала он не удостоил мальчика ответом… Когда же мой сын явился в третий раз со своим прошением, его принял гофмейстер граф Арко. Он назвал Вольфганга хамом и негодяем, а потом пинком ноги… выбросил его из комнаты. Это было нетрудно. Он такой маленький… И вот его – кавалера ордена Золотой Шпоры, рыцаря, члена двух академий – пинком в задницу… с лестницы…

Мальчик слег. Конечно, он клялся вернуть пинок графу, он писал мне всяческие глупости: «Да, я не граф, но в душе у меня больше, чем у любого графа… и если он оскорбил меня, он – собачье дерьмо!» И т. д. Конец письма меня страшно встревожил… Он писал: «Завтра отправляю письмо графу. Я совершенно спокойно разъясню ему, как подло он исполнил свое дело. Я пообещаю ему встречу на улице… В людном месте он получит от меня пинок в жопу и пару оплеух вдобавок!..» Я умолял его не делать этого из любви ко мне. Это не только лишило бы меня работы, средств к существованию, но принесло бы мальчику новые унижения. Что мог поделать он, маленький, тщедушный, против этих господ, окруженных слугами? К счастью, он так же страстно переживает обиды, как легко их забывает. Уверен, что на третий день пинок под зад испарился из его головы – и он предался опаснейшему счастью обретенной свободы. А я, как осужденный, подставивший голову под топор, начал ждать, когда произойдет неминуемое.

(Добавлю: именно в эти дни я впервые встретился с Моцартом. Он и вправду был пьян от свободы. Свободы и… любви.)

Леопольд. И уже вскоре я начал получать от него восторженные письма. Опять слишком восторженные: «Город полон сейчас цветов и музыки. Ночные серенады здесь так же часты, как в Италии. И в поздний час распахиваются окна, и горожане аплодируют ночным певцам. В то время как наш гнусный Зальцбург храпит!» Далее он писал мне, что получил заказ на оперу. Либретто оперы меня насторожило. Точнее, страстное изложение этого либретто: некий дворянин и его слуга освобождают из гарема когда-то похищенную невесту дворянина… И затем шло почти стихотворение о силе любви дворянина к этой невесте. Невесту звали Констанца… И уже вскоре мне пришлось понять, откуда это имя.

(Все было именно так. В это время Моцарт часто приходил ко мне. И однажды сообщил новость: он поселился в доме своих старых друзей Веберов. Тех самых Веберов! Злосчастная Алоизия к тому времени уже вышла замуж. Я знаком с ее мужем… Господин Ланге – отличный певец… Вместе с ним сия красавица пела теперь в Вене. Бе мать и три незамужних сестры тоже приехали в Вену. Стесненное положение заставило их сдавать комнаты. Моцарт рассказал мне, что госпожа Вебер предложила ему просторную и светлую комнату. И отличный стол. Что для него особенно важно, ибо его желудок весьма чувствителен к плохой еде и он страшится отравиться в наших мерзких трактирах. Веберы избавили его от всех житейских забот. Он сказал мне: «Я привык жить в семье. У Веберов я вновь почувствовал себя в отчем доме…» Его дом носил премилое название: «Петр в Оке Божьем». Он записал мне свой адрес. Эта запись его рукой до сих пор хранится в моем столе.)

Леопольд. Вы можете представить, что я пережил, когда узнал: проклятая Веберша опять заполучила его в свой дом! Он чувствовал мою печаль и решил успокоить – сообщил, что Алоизия вышла замуж… Но я-то знал: там еще три сестры! Три незамужних сестры, хитрющая мать и мой пылкий сын в одном доме!!! И скоро, скоро я получил весть: «Наилучший из отцов. Спешу тебе рассказать о Констанце. Она моложе Алоизии. Это милая, добрая, чудесная девушка…» О, Боже!

«Она совсем не похожа на свою мать, которая груба и весьма склонна к горячительным напиткам…» Это он, конечно, писал для меня! Он знал, как я не люблю гнусную Вебершу… «Сейчас я заканчиваю оперу и придумал для нее отличное название – „Похищение из сераля“».

…Я – прямо тотчас понял: этот восторженный безумец уже задумал «Похищение из Ока». Он так и не понял: похищали его самого! Я потребовал, чтобы он сменил квартиру. Я написал, что

уже идут сплетни и т. д. Он мне испуганно ответил: «Наилучший из отцов! Я давно уже намеревался снять другую квартиру. Из-за этих людских сплетен, в которых нет ни слова правды. Дескать, коли я квартирую у госпожи Вебер, то непременно женюсь на ее дочери! Какая глупость! Именно теперь я более, чем когда-либо, далек от этой мысли… Бог дал мне талант не для того, чтобы я погубил его из-за жены и прожил бездеятельно свою молодую жизнь. Я только начинаю жизнь, я не хочу испортить ее…»

И вот прошло три месяца! Всего три месяца, и я получил от него: «Мое стремление сейчас состоит в том, чтобы получать небольшое, но постоянное вознаграждение… а потом жениться!» Жениться!!

«Вы приходите в ужас от этой мысли, но прошу, наилучший из отцов, выслушать меня. Природа говорит во мне столь же громко, как и в любом другом… и даже громче, чем в каком-нибудь здоровом олухе!..» Уж это мы знали давно!.. «Но мне невозможно жить, как живет большинство нынешних молодых людей. Во-первых, я слишком религиозен. Во-вторых, слишком люблю ближнего своего и слишком честен по убеждениям, чтобы смог обмануть невинную девушку. И в-третьих, слишком люблю свое здоровье, чтобы иметь дело с потаскухами. Оттого могу поклясться вам, что еще ни с одной женщиной не имел дел такого рода. В этом могу поклясться жизнью… Я не вижу для себя ничего более необходимого, чем жена. Холостой человек живет только наполовину… И вообще мой темперамент больше располагает к спокойной домашней жизни».

И так далее… Это бесконечное письмо!.. Теперь вы знаете, добрейший барон, все, что произошло в нашей несчастной семье… Мальчик столь уважает вас: может быть, вы объясните ему всю пагубность этого брака?

ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы*

Видимо, старому Моцарту придется примириться с неизбежным. По возвращении в Вену я узнал, что мадам Вебер проводит интригу очаровательно точно. Она постаралась сделать так, чтобы вся Вена узнала: наш маленький Моцарт влюблен в Констанцу. Вчера этот наивный ребенок в отчаянии прибежал ко мне. Передаю наш разговор целиком.

Моцарт. Я отниму совсем немного вашего драгоценного времени, барон. Я в отчаянии. Госпожа Вебер объявила мне, что по городу идут ужасные сплетни. И опекун ее дочерей господин Торварт категорически против, чтобы я далее проживал в их доме.

Я. И что же вы решили?

Моцарт. Я сказал, что люблю ее дочь. И как только получу

минимальное, но постоянное обеспечение, немедля женюсь на Констанце. Но господин Торварт не верит, он считает, что я могу бросить Констанцу и несчастная девушка останется скомпрометированной.

Я. И что же предложила госпожа Вебер?

Моцарт. Чтобы я немедля объяснился с господином Торвартом. Господин Торварт весьма уважает вас, барон. Я прошу заверить его, что я порядочный человек…

Я. Милый Моцарт. Я уверен, что и без моего вмешательства все обойдется благополучно. По-моему, вам попросту предложат подписать бумагу, где вы обязуетесь жениться…

Моцарт. Да я подпишу тысячу таких бумаг!.. И вы думаете, тогда все обойдется?

ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы*

Сегодня он опять был у меня! И опять разговор наш был столь краткий, что доверяю его бумаге целиком.

Моцарт. Вы были правы, дорогой барон! Все обошлось! Я написал официальное заявление, где обязался в трехгодичный срок вступить в брак с мадемуазель Констанцией Вебер.

(Представляю лицо «наилучшего из отцов», когда он получит сие известие.)

Моцарт. Но что сделала чудесная девушка? Когда опекун ушел, она взяла у матери обязательство и сказала мне: «Дорогой Моцарт! Мне не нужно от вас никаких письменных обязательств, я и так верю вашим словам». И разорвала бумагу! Этот поступок сделал для меня еще дороже мою любимую!

(Браво, госпожа Вебер! Замечу: эта семья всегда жила рядом с театром. Да, старая Веберша сумела поставить спектакль.)

ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы*

Я все больше сближаюсь с Моцартом. Сейчас он в большой моде. Все знаменитые дома Вены зовут его с концертами. Вчера я пришел в театр на последнюю репетицию его оперы «Похищение из сераля».

В кармазиновом камзоле, в красной шляпе, украшенной золотым шнуром, этот человек стремительной походкой прошел по залу и легко прыгнул на сцену.

Началась увертюра оперы. Я слышал томный, вкрадчивый шелест… нежный лепет, вздохи… я видел, как вздымается взволнованная грудь… Страсть, которой не дозволяют излиться. И все это сочинила любовь. Успех оперы обещает быть грандиозным, и госпожа Вебер спешит закончить дело с выгодным женихом. Она не собирается ждать три года… Я понял это из сегодняшней беседы с Моцартом. Привожу ее вкратце:

Моцарт. Я хочу просить у вас совета, добрейший барон. В

последнее время госпожа Вебер вдруг стала совершенно несносной к Констанце. Дело доходит до рукоприкладства. По моей просьбе баронесса Вальштедтен забрала ее в свой дом. (Замечу в скобках баронесса развелась с мужем и пользуется в Вене репутацией слишком свободной женщины. Впрочем, я все прощаю Марте фон Вальштедтен за ее истинное понимание музыки.)

Моцарт. Вчера Зофи… это сестра Констанцы… пришла ко мне… плакала и умоляла, чтобы я что-то предпринял: мать хочет забрать Констанцу обратно с полицией.

Я. Как я понимаю, господин Моцарт, это «что-то» означает ваше скорое венчание?

Моцарт. Но иначе я не смогу защитить ее!.. Я пишу отцу письмо за письмом, я прошу благословения, а он молчит… Я пишу: «Ради всего на свете, дайте мне свое соизволение». Молчит! Я пишу: «Я охотно ждал бы еще! Но это непременно необходимо теперь! Ради моей чести! Ради чести моей девушки!» Молчание! Молчание! Молчание! Сердце мое беспокойно, голова в смятении! Как можно при этом сочинить что-то толковое?! Или просто работать?! Ну что мне еще ему написать, дорогой барон?!

ИЗ ДНЕВНИКА *1781–1782 годы*

Был у Моцарта впервые после венчания. Все свершилось в соборе Святого Стефана. Баронесса устроила свадебный пир… И только вчера пришло согласие от отца.

Он сидел с письмом в руках, когда я вошел. Вот самое краткое содержание нашего разговора.

Моцарт. Он прислал согласие, барон, но, конечно, он сердится… Бедный, он пишет: «Отныне твой отец не может более рассчитывать на помощь сына, впрочем, и тебе не следует ожидать помощи от своего отца…» Но я уверен, когда он увидит Констанцу… Ее нельзя не полюбить! Ха! Ха! Ха! Дорогой барон, похищение из «Ока» свершилось! Она моя! Ха-ха-ха!

(Замечу: его отец прав. Он, конечно же, не понимает, что похитили его самого… Но понимает ли она интригу матери? Скорее всего, попросту не задумывается. Я приглядывался к ней в эти дни. Моцарта она явно любит, а мать явно боится. И верит, что та делает все ради ее пользы. Она из тех безвольных натур, которые рождены быть зеркалом. Они отражают того, кто рядом. Моцарт беспечен и жизнерадостен, и она беспечна и жизнерадостна… Она недурно поет и неплохо играет на клавире. Моцарт обожает птиц. Что ж, он получил рядом веселую, глупую птицу. Теперь их двое – птиц.)

Моцарт. Клянусь, скоро дражайший из отцов попросту растает. Мы завалили его, барон, совместными письмами с

изъявлениями любви.

В этот вечер я стал свидетелем, как писались эти письма: Моцарт сидел с пером в руках, Констанца – у него на коленях. Они сочиняли вслух следующее трогательное письмо.

Моцарт. «Наилучший из всех отцов и свекров. Спешим описать тебе всю церемонию… Когда мы были обвенчаны, я и моя жена начали плакать. И все вокруг тоже заплакали, ибо стали свидетелями растроганности наших сердец».

(При сем оба заливались смехом и беспрестанно целовались.)

Моцарт. «Держу пари, дражайший отец, вы обрадуетесь моему счастью, как только узнаете ее. Ибо в ваших глазах, как и в моих, нет больше счастья, чем разумная, правдивая, добродетельная и услужливая жена! Такова моя Штанци».

(Так он ее называет. Он обожает играть в звуки: «Констанца… Штанци…»)

ИЗ ДНЕВНИКА *1782–1784 годы*

Теперь целые дни Моцарт просиживает над сочинением музыки, стараясь обеспечить семью. Врач прописал ему прогулку на лошади. Как все дети, он обожает маленьких животных. Лошади он боится, но добросовестно отправляется на ней на прогулку. Я тоже выезжаю по утрам для моциона, и он составляет мне компанию. К сожалению, он все время опаздывает. Вчера у нас произошел следующий разговор (записан мной целиком).

Моцарт. Ради Бога, простите за опоздание, барон. Я тружусь за полночь, оттого трудно встаю, к тому же мне надобно по утрам писать письма жене.

Я. Разве Констанция уехала?

Моцарт. Нет-нет, она спит в доме. Но когда просыпается – она привыкла находить мои письма. **Я.** И что же вы ей пишете?

Моцарт. Всегда разное. Сегодня, к примеру: «Доброе утро, милая женушка. Желаю тебе, чтобы ты хорошо выспалась, чтобы не пришлось тебе сразу вставать, чтоб ты не гневалась на прислугу и не упала бы, споткнувшись о порог. Прибереги домашние неприятности до тех пор, пока я не вернусь. Только бы с тобой ничего не случилось».

(О, этот вечный страх молодых влюбленных, что с ней что-то случится!.. Добавлю: при всей этой жаркой любви к Констанце брак развязал его буйный темперамент. Констанца пренебрежительно называет их «горничными»… Нет, нет, он не ищет встреч с «горничными», но, видимо, и не избегает. Впрочем, он всегда раскаивается.)

ИЗ ДНЕВНИКА *1782–1784 годы*

Сегодня я застал Констанцу в слезах.

Я ни о чем не спрашивал, она начала сама.

Констанца. Это ужасно… И зачем ему эти «горничные»? Но… он кается так мило… нет, нет, на него невозможно сердиться. Нет, нет, я не могу не отнестись к нему снова хорошо.

В это время в соседней комнате Моцарт играл на бильярде, и я слышал его нежный тенор, напевающий мелодию, и стук шаров. Потом он выбежал из комнаты, схватил заплаканную жену и, хохоча, начал с нею танцевать.

Моцарт. Простите нас, дорогой барон! Но мы так любим танцевать, танцевать, танцевать!

Он напевал мелодию. Я понял: он продолжает сочинять. Этот человек сочиняет всюду – в карете, на лошади, играя на бильярде. Даже исполняя чужое сочинение, он вдруг объявляет, что забыл… чтобы начать сочинять за автора. И сейчас, танцуя, он все время напевал своим тонким тенором новые мелодии. Изысканный менуэт сменялся самой площадной пляской. Так, хохоча, он танцевал с обезумевшей Констанцией. И приговаривал:

– Разве блаженство, которое дает истинная, разумная супружеская любовь, не отличается – как небо от земли – от удовольствий непостоянной и капризной страсти?!

(Добавлю: ну что ж, он может танцевать, у него все хорошо, и денежки у него пока водятся… Впрочем, именно пока!.. Я богатый человек, но я умею ценить деньги. Деньги относятся к вам также, как вы к ним. Вы их любите? Они вас тоже. Бережете? Они сберегут вас. Он не бережет, швыряет пригоршнями. Одалживает всем, кто обращается. При мне настройщик клавиров попросил у него талер – получил горсть дукатов! Все проходимцы Вены обирают его. И хотя пока его доходы возрастают, я уже не сомневаюсь, чем все это кончится.)

ИЗ ДНЕВНИКА

1784–1785 годы

В Вене находится старый Моцарт. Его сын по-прежнему в большой моде. И хотя старик Леопольд выглядит очень счастливым, беседу он начал печально.

(Разговор привожу целиком.)

Леопольд . И все-таки положение его непрочно. Император так и не взял его на службу. Мальчик написал мне грустное послание. (Он показал мне его. Оно очень любопытно. Вот что пишет молодой Моцарт:

«Ни одному монарху в мире я не служил бы с большей охотой, чем нашему императору, но я не собираюсь выклянчивать службу! Я верю, что окажу честь любому двору своей музыкой. И ежели Германия, любимое мое отечество, не хочет принять меня, придется с именем Божьим сделать Англию или Францию богаче на одного искусного немца!..

…Вы не можете поверить, дражайший из отцов, сколько трудов затрачивает барон ван Свитен и другие важные господа, пытаясь удержать меня здесь». Что ж, сие правда!)

Леопольд. Я счастлив был прочесть ваше имя, дорогой барон.

(Но в глазах старика был вопрос: почему?! Почему император до сих пор не возьмет на службу его сына? Что я мог ему ответить? Император, как все Габсбурги, прекрасно образованный музыкант. У него отличный бас, он прекрасно поет, и оттого вершиной всех искусств он считает итальянскую оперу. «Похищение из сераля» слишком непривычно для него. Да и сам Моцарт непривычен. Недавно в Вену вернулся итальянец Антонио Сальери. Он весел, общителен, импозантен. Но, главное, он итальянец, сочиняющий превосходные традиционные оперы. Они нравятся и Европе, и великому Глюку. И нашему императору. И конечно же, он назначил Сальери Первым капельмейстером.)

Леопольд. Это людская зависть, дорогой барон. Вечные интриги «музыкальной преисподней». И наверняка – господин Первый капельмейстер! Да, да, этот Сальери ненавидит мальчика!

(Я не стал возражать. Я был благодарен ему за то, что он избавил меня от объяснений по поводу императора. Добавлю от себя: я много раз говорил с Сальери, но никогда при мне он не отзывался с ненавистью о Моцарте. Хотя успех «Похищения» должен был его насторожить. Но Сальери слишком упоен собой, слишком благодушно процветает, чтобы испытывать к кому-нибудь такое сильное чувство, как ненависть. Скорее это равнодушное недоброжелательство. Как положено опытному царедворцу, узнав, что Моцарт мечтает давать уроки дочери императора, Сальери тотчас устроил на это место бездарного господина Фогта…)

Я. И все-таки чувствую: на этот раз вы довольны жизнью?

Леопольд. Я думаю, при нынешних его доходах он скоро сможет положить в банк две тысячи флоринов… И хозяйство Констанца ведет экономно. Главное – следить за расходами. Я давно советовал ему завести особую тетрадь. И вот – смотрите!

(Он с умилением показал мне Тетрадь. И я даже прочел по его просьбе несколько записей:

– «26 мая: два ландыша – один крейцер. 27 мая: птица-скворушка – четыре крейцера».

Рядом с расходами на скворца я увидел ноты.)

Леопольд. Это прелестная мелодия, которую насвистал скворец. Точнее, мой мальчик напел, а скворец повторил… Остальные расходы он сказал мне, что не помнит!

Он расхохотался.

(Я впервые услышал, как старик смеется. Замечу: на самом же деле Моцарт давно передал вести эту тетрадь Констанце. А экономная хозяйка, конечно же, тотчас позабыла это делать. Зато каталог своих сочинений, который также научил его вести отец, он заполняет с тщательностью, странной для этого человека.

Заканчивая беседу, г-н Леопольд сказал весьма важно:

– Но особенно меня порадовало, барон, что мой мальчик вступил в масонскую ложу.

Добавлю: старик не только порадовался, но и сам вступил. Еще бы – вся наша знать состоит в масонах. Я часто думаю: почему Моцарт так страстно возлюбил масонство? Выгода? Сие непонятно этому ребенку! Все много проще: в реальной жизни знатный человек пинком ноги может поставить его на место. Зато в масонских ложах все равны. Все братья, все оставляют свои титулы в миру. Радость братства! И конечно же, таинственность обрядов.)

Когда мы прощались, я спросил старика:

– Как вам последняя музыка, сочиненная сыном?

Леопольд. Знаете, что сказал Йозеф Гайдн: «Говорю, как перед Богом: ваш сын – величайший композитор».

Я. Ну а вы? Вы сами что скажете?

Он долго молчал. Очень долго. Потом глухо сказал фразу… я запомню ее до смерти.

Леопольд. Ежели мой сын ни в чем не испытывает нужды, он тотчас становится слишком довольным, беззаботным. Его музыка… порхает. Бог покидает ее.

ИЗ ДНЕВНИКА

1785–1786 годы

12 августа 1785 года. Вчера у меня был Сальери. Сначала он долго рассказывал о своих европейских успехах. Эту часть разговора я опускаю. Привожу конец нашей беседы. **Я.** Скажите, а что вы думаете о Моцарте?

Сальери. Помилуйте, зачем мне о нем думать. Есть вещи, о которых думать куда приятнее. Например, певица госпожа З.

Я. Неужели в нашей опере осталась та, которая не стала жертвой вашего темперамента?.. И все-таки – о Моцарте.

Сальери. Легко, изящно, грациозно. Публика это любит. Но вы?! Впрочем, барон, ваш вкус столь безукоризнен, что вас уже могут взволновать только самые примитивные вещи… Моцарт – прекрасный клавирист. Но когда исполнитель желает сам сочинять, одним исполнителем становится меньше и редко одним сочинителем больше… Так что при всем моем уважении к вам, барон, Моцарт – это… несерьезно. Хотя есть вещи, которые мне в нем симпатичны: щедр, умеет сорить деньгами, прекрасно острит.

Я. Вас, например, он зовет «Музыкальный фаллос». Только погрубее.

Сальери. А вас – всегда изысканно: «такой же зануда, как все его накрахмаленные симфонии». И все-таки: Моцарт – это несерьезно.

Я. И все-таки: обучать принцессу музыке вы его не допустили.

Сальери. Ну можно ли допустить к принцессе человека с такими манерами? «Жопа» и «выкуси» у него как у нас с вами «здравствуйте».

Теперь самое смешное: к концу вечера я сыграл Сальери несколько любимейших моих сочинений Моцарта. И выяснилось: он не слышал ни одного из них! Как все наши музыканты, Сальери избегает слушать чужую музыку. Но «накрахмаленные симфонии»?! Моцарт, Моцарт… Это для меня – удар. Я близко сошелся с ним в последнее время. Наши встречи проходят в моем доме, который находится рядом с отелем «Цум римише Кайзер»… Я много рассказывал ему о своей жизни: как, будучи послом в Берлине, сумел договориться с прусским королем. И когда они с русской императрицей поделили несчастную Польшу, мы тоже получили свой кусок пирога… Но разве в этом моя истинная заслуга перед потомством?.. Она – в музыке. Вернувшись в Вену, я занимаю особое место в музыкальной жизни. Если я присутствую на концерте, все знатоки смотрят не на музыкантов, но на меня. Чтобы прочесть на моем лице: какое суждение они должны составить об услышанном. Да, конечно, не последнюю роль в этом играют мои титулы: директор придворной библиотеки, глава императорской комиссии по образованию. И наконец, близок к императору. Но Моцарт… эта беспечная птица… мне казалось: уж он-то ценит во мне иное, понимает, что я совершаю ныне! Будучи послом в Берлине, я узнал великое «Берлинское искусство»… Забытого гения – Иоганна Себастьяна Баха! И весь этот год я знакомлю с ним Вену. Я осуществляю свою мечту: Моцарт – воплощение легкости, грации – введен мною – мною! – в мир великой и строгой немецкой музыки. И я гордился, когда он показал мне переписку с отцом. Не скрою, я даже переписал эти письма. Вот они:

«Любимейший из отцов! Все воскресенье я хожу к ван Свитену. Там ничего не играют, кроме Генделя и Баха. Исполнение в самом тесном кругу. Без слушателей, только знатоки». И вот испуганный ответ Леопольда: «Это увлечение, дорогой сын, может стать для тебя пагубным и увести тебя ох как далеко от вкусов нынешней публики».

Старый, опытный хитрец. И как прекрасно ответил ему Моцарт: «Барон знает не хуже вас и меня, что вкусы, к сожалению,

все время меняются… Вот и получается, что настоящую духовную музыку надо отыскивать на чердаках и чуть ли не съеденную червями…»

«Барон знает»… И вот благодарность: «накрахмаленные симфонии»!.. Что ж, я прощаю ему.

ИЗ ДНЕВНИКА *1785–1786 годы*

В парадной зале придворной библиотеки я распорядился исполнять великие генделевские оратории. И Моцарт обработал некоторые из них. Гендель предстал в одежде Моцарта. Кто еще мог с таким вкусом облачить старика Генделя, чтобы он понравился и франту, и знатоку! Этот непостижимый человек умеет поглощать чужое, и оно тотчас становится его собственным.

Так случилось и с великим «Берлинским искусством». На беду Моцарта. И на счастье музыки. Ибо, как предполагал его отец: изменившийся Моцарт все менее нравится публике… Вчера он пришел ко мне. Передаю (вкратце) наш разговор.

Моцарт. Я должен посоветоваться с вами, барон. Я был у издателя, он долго ругал меня и просил писать популярнее. Он прямо сказал: иначе ничего твоего я просто не смогу продать.

Я. И что же вы ответили?

Моцарт. Значит, я больше ничего не заработаю, черт меня побери!

Я обнял его – и в памяти зазвучали слова его отца: «Когда у него все в избытке – Бог покидает его музыку»… Что ж, до нынешнего 1786 года у него были немалые доходы. Но денег ему все равно не хватало, ибо тратил не считая. По моим сведениям, уже тогда случилось с ним страшное: он обратился к ростовщикам. Теперь его доходы начнут сокращаться и сокращаться. При его беспечности это значит: уже вскоре – беды и нищета! Что ж, мы видели великую музыку счастливого Моцарта. Впереди нас ждет величайшая музыка Моцарта трагического. О, как я жду ее!

ИЗ ДНЕВНИКА *1786–1787 годы*

Вчера я пришел к нему в дом. Он сидел за клавиром – спиной… Теперь я всегда вижу его спину. Он сказал мне: «Дорогой барон, я работаю, работаю, работаю, и нет денег… Работа пьет мозг и сушит мое тело. И все равно – нет денег!»

Теперь ежедневно он дает концерты… иногда дважды в день. Он объявляет бесконечные Академии. А ночами – сочиняет. Воистину – это музыкальная лихорадка. Воспаленный мозг все время требует продолжения. И потому даже после концертов Моцарт часто импровизирует. Три дня назад после его Академии я стоял за кулисами, поджидая его. Он был на сцене. Я услышал его нежный тенор: он разговаривал со старым скрипачом из

оркестра, который, видно, уже уходил со сцены.

– Вы наговорили мне столько хороших слов, маэстро, позвольте и мне хоть немного отблагодарить вас. Если вы не торопитесь, я хотел бы сыграть для вас…

И он начал играть на темной сцене перед пустым залом. Я стоял, боясь пошевелиться. Это была импровизация. Она длилась добрый час. И, клянусь, там, в темноте, он беседовал с Господом. Если бы мне было дозволено испросить у Творца земную радость, я попросил бы вновь вернуться в тот вечер. Наконец, мелодия оборвалась. Я слышал, как в темноте он стремительно вскочил. И сказал старому скрипачу:

– Теперь вы слышали настоящего Моцарта! Все остальное умеют и другие.

Я вышел из темноты со слезами на глазах. Мы обнялись. Мы оба были растроганы.

Вот полностью наш разговор, который в конце стал столь неожиданным.

Я. Однажды я показал вам свою Десятую симфонию. Она мне очень дорога. Я все надеюсь, что вы сыграете ее когда-нибудь.

Он промолчал. Он просто заговорил о своих бедах

Моцарт. Меня беспокоит здоровье Штанци. У нее были неудачные роды. И не одни. И врач велит отправить ее на курорт. Она хочет в Баден. Но у нас совершенно нет денег.

(После того как он отказался сыграть мою симфонию, он хотел, чтобы я одолжил ему денег. В этом он весь! «Накрахмаленные симфонии»!)

Я. Хорошо. Я дам, но очень немного. Вам известен мой принцип: я помогаю помалу, но многим.

Моцарт. А мне много и не надо, скоро у меня вновь будут деньги. Ко мне обратился Лоренцо ди Понте.

(Проклятие! Я знаю этого хитрющего венецианца: это итальянский еврей, который крестился, стал аббатом, что-то натворил и бежал из Италии. Он очень способный человек По протекции Сальери император сделал его придворным поэтом… Он сочинил множество либретто для опер Сальери. И вот добрался до Моцарта.)

Моцарт. Он предложил мне написать оперу на его либретто. Я получу сто дукатов.

(Неужели – выкарабкается? И вновь – веселый и легкомысленный Моцарт?)

Моцарт. И знаете, каков сюжет? «Свадьба Фигаро» Бомарше. И вот тогда – в единый миг! – я понял всю мою будущую интригу.

Я. Дорогой Моцарт, это великолепная затея.

Моцарт. Но разрешит ли император? «Фигаро» запрещен и в

Париже, и в Вене… правда, после невиданного успеха. (Последние слова он произнес лукаво.)

Я. Тем больший будет интерес у нашей публики. Публика – женщина, и ее особенно влечет запретное.

Моцарт. Ди Понте клянется, что избежит в либретто всяких политических намеков.

Я. Но избежите ли вы? Вы – гений-простолюдин, который помнит пинок ноги ничтожного аристократа?

Моцарт. Я могу сердиться в письмах, барон, могу ненавидеть в жизни, но когда начинаю слышать музыку… Впрочем, вы знаете лучше меня: злой Гендель, злой Бах – разве это возможно? Музыка есть молитва, а Бог – Любовь и Прощение… Нет, нет, это будет веселая опера-буфф, и, клянусь, все итальянцы умрут от зависти! (Это он, конечно, о Сальери.)

Моцарт. Зная ваше доброе отношение, барон, ди Понте просил меня поговорить с вами. Император ценит ваши советы.

Я. Я уверен, дорогой Моцарт, моей помощи не потребуется. Император одобрит эту идею. Наш просвещенный монарх не раз говорил: «Предубеждение, фанатизм и рабство духа должны быть уничтожены». Он поклонник французских просветителей, ему будет приятно разрешить оперу на сюжет, запрещенный в Париже.

Он обрадовался как дитя. Он не знает: императоры часто говорят одно, когда думают совсем другое. Но я знаю.

ИЗ ДНЕВНИКА *1786–1787 годы*

Все случилось, как предполагал я.

На последней репетиции – предощущение триумфа. После арии «Мальчик резвый» оркестранты вскочили, стучали смычками и кричали: «Браво». Да, это восхитительная опера-буфф. Но на мой вкус это – прежний Моцарт. А я мечтаю о другом… Который только нарождается и рождению которого грозит помешать этот легкомысленный успех.

И потому вчера, когда император осведомился о моем впечатлении, я ответил вопросом:

– Ваше Величество, уже не говоря о том, как будут недовольны в Париже, надо ли в нашей спокойной благословенной стране насаждать развращающий французский дух? Не лучше ли нам почитать всех этих великих просветителей на расстоянии?

Вот почему, несмотря на успех, опера быстро исчезла со сцены…

Разговор за обедом.

Моцарт. Он – демон!

Я. Кто?

Моцарт. Демон всей моей жизни.

Я. Боже мой, о ком вы это?!

Моцарт. О Сальери!

И это он повторяет теперь разным людям. Истинный сын своего отца. И хотя ни разу впрямую они не столкнулись, о вражде Моцарта и Сальери знает вся Вена. Хотя на этот раз Моцарт прав. Болтун Сальери быстро подхватил и развил мой слух о недоброжелательстве императора. Он разнес его по дворцам, и Моцарта перестали приглашать.

Уже уходя, Моцарт сказал мне: «Боже мой! У меня совсем нет концертов. Осталось всего два ученика. А мне, как никогда, нужны деньги. Я прошу вас, барон, если услышите, что кому-то нужен хороший учитель…»

Как я люблю его таким!.. Началось, началось его истинное одиночество… путь в бессмертие…

На днях исполнялись написанные Моцартом струнные квартеты. На исполнении одного из них я печально вздохнул, и сидевший рядом со мной влиятельный критик, естественно, это заметил. Сегодня утром Моцарт был у меня. Наш разговор был очень занятен.

Моцарт. Боже мой, что они обо мне пишут! Что они пишут: «Жаль, что Моцарт столь жаждет стать новатором… На цыпочках долго не устоишь…»

Я. Вы обращаете внимание на эти писания недоумков?

Моцарт. А вот что пишет обо мне дрянной итальяшка Сарти: «Эти варвары, немцы, лишенные всякого слуха, смеют предполагать, что они пишут музыку!» За этим говнюком, конечно, – Сальери.

(Замечу: издатели уже отказываются от его сочинений, и он все больше становится образцом не самого хорошего тона.)

Моцарт. Вчера, барон, я объявил свою Академию. Я разослал подписные листы. Они вернулись пустыми. Точнее, на них было только одно имя.

Я. Одно? Но, согласитесь, оно стоит многих.

Моцарт. Да, да. Ваше имя, дражайший барон. Боже мой, что бы я делал без вас.

Но его заботили деньги. И на лице его была мука. Я дал ему, но немного. И прибавил: «Я закончил вчера свою Одиннадцатую симфонию…»

Но он молча взял деньги и торопливо откланялся.

Таков характер этого человека!

ИЗ ДНЕВНИКА *29 декабря 1786 года*

Я вижусь с Моцартом редко. На Рождество 1786 года он уехал в Прагу, где, говорят, с великим успехом идет его «Фигаро». Чтобы поболее узнать о Моцарте, я отправился сегодня к его

либреттисту ди Понте.

Я застал его дома. Он сочинял. На столе – бутылка токайского, открытая табакерка с испанским табаком. На коленях – юная красотка, которая при моем появлении бросилась прочь из комнаты. Он хвастливо показал мне письма Моцарта. Вот их содержание:

«В Праге ни о чем другом не говорят, не играют, не поют, не танцуют, кроме нашего „Фигаро“! „Фигаро“ всюду! „Фигаро – здесь, Фигаро – там“. Бесконечные балы… Ты, конечно, представляешь меня волочащимся за всеми красавицами? Представь – лучше плетущимся. У меня нет сил танцевать и любезничать, потому что я смертельно устал из-за своей работы, и к тому же ты знаешь мою застенчивость».

Ди Понте сказал, что успех «Фигаро» блистательный – и директор Пражской оперы Бондини заплатил Моцарту сто дукатов за будущую оперу. Оказалось, либретто к этой опере и писал сейчас этот поэт и прощелыга. Помогая себе вином и красоткой! Будущая опера называется соответственно всей обстановке – «Дон Жуан»… Итак, опять? Опять – опера-буфф? И опять прежний Моцарт?

Сегодня беседовал с господином Ланге, мужем Алоизии, урожденной Вебер. Он рассказал, что Моцарт в Праге дописывает своего «Дон Жуана». По слухам, он живет в чьем-то имении. И в саду пишет оперу. Вокруг идет веселая попойка, играют в кегли… Рассказал о бесконечных певичках из местной оперы, которые охотно помогают Моцарту входить в образ Дон Жуана. Моцарт, Моцарт!.. Забавная деталь: Бондини вызвал в Прагу некоего итальянца Джакомо Казанову, который в молодости отличился большими удачами в охоте на женщин. И этот старый ловелас исправил Моцарту либретто «Дон Жуана». О, Боже!

В Праге – огромный успех «Дон Жуана». А у нас в Вене не торопятся. Все это время в опере исполняли «Тарара» Сальери. (Отмечу – с неизменным успехом.) И вот вчера – долгожданная премьера Моцарта.

Я пошел в театр, чтобы стать свидетелем: «Дон Жуан» провалился. Наши тупоголовые венцы ждали повторения «Фигаро». Они пришли поразвлечься веселыми похождениями наказанного небом ловеласа. Но «Дон Жуан» не слишком веселит. Это лихорадочное напряжение. Устрашающее неистовство музыки. И это явление Командора… Железный ритм… Дыхание предвечного… Я был не прав… Рождается новый Моцарт… Я счастлив.

Моцарт встретил провал, к моему изумлению, насмешливо. Он сказал только одну фразу: «Ну что ж, дадим им время разжевать».

Наконец-то мы увиделись с Моцартом. После пражских успехов император назначил его камер – музыкантом с обязанностью сочинять музыку для придворных маскарадов. Наша беседа:

Моцарт. Восемьсот флоринов за музыку для маскарадов. Слишком мало за то, что я мог бы сделать, и слишком много за то, что я буду делать.

Я. И все-таки – это радость. Я поздравляю вас с долгожданным зачислением на придворную службу.

Моцарт. Нужно было умереть бедняге Глюку, чтобы мечта покойного отца наконец-то осуществилась.

(Добавлю: «наилучший из отцов» скончался в прошлом году, и теперь он – один на один со своей судьбой.)

Моцарт. Если бы вы знали, в каком я сейчас положении. Такого и врагу не пожелаешь.

Да, несмотря на жалованье, он весь в долгах… Но я не дал ему денег. Все-таки у него – жалованье. Замечу: он ко многим теперь обращается с одними и теми же словами. На днях его почитатель купец Пухберг показал мне его послание: «Боже, в каком я положении! Такого и врагу не пожелаешь. Если вы, наилучший из друзей, не поможете мне, я погибну вместе с бедной больной женой и ребенком». И т. д. Как все художественные натуры, он несколько преувеличивает – и нищету свою, и ее болезни. Кстати, сей «наилучший из друзей» дал ему деньги. На эти деньги Констанца отправилась сейчас на курорт. Кажется, она там поправилась слишком быстро. И, видно, веберовский темперамент сыграл с ней злую шутку.

Он пожаловался мне, что какой-то его знакомый, который вообще-то относится к женщинам с большим уважением, написал из Бадена о Констанце отвратительные дерзости. Но, видимо, и она тоже кое-что узнала. Во всяком случае, в письме, которое он при мне сочинял, он ей писал в начале: «Я не хочу, чтобы ты поступала так подло!..»

А в конце: «Не мучь ни себя, ни меня излишней ревностью! Умоляю! И ты увидишь, какими довольными мы станем! Лишь умное ровное поведение женщины может возложить узы на мужчину. Пойми это!»

О, Моцарт!

ИЗ ДНЕВНИКА *1790 год*

Итак, умер дорогой император, и на престол взошел Леопольд II. Наш новый повелитель в отличие от прежних Габсбургов отнюдь не знаток музыки. Хотя недурно играет на лире. Как всегда при новом царствовании, все прежние фавориты тотчас потеряли места.

Уже утром Моцарт появился в моем доме. Он был так взволнован, что забыл о приветствии. Наш разговор (кратко):

Моцарт. Неужели это правда? Неужели Сальери…

Я. Совершеннейшая правда. Новый император сказал: «Этот Сальери – невыносимый эгоист. Он хочет, чтобы в моем театре ставились только его оперы и в них пели только его любовницы». Вчера наш Сальери ушел в отставку. На его место назначен молодой Йозеф Вайгель.

Моцарт. Значит, я могу рассчитывать на место Второго Капельмейстера? Я написал прошение, дорогой барон. У меня большие надежды. Я предчувствую! Неужели я стою у врат своего счастья? Вы не представляете, как мне нужны сейчас деньги. Это жалованье спасет меня. Вы передадите мое прошение, барон? Я здесь упоминаю: Сальери совершенно пренебрегал церковной музыкой. Я же…

Он еще что-то лихорадочно говорил… Я взялся передать его прошение.

И хотя мне жаль Моцарта, но во имя музыки… Короче. Передавая прошение императору, я сопроводил его необходимым комментарием.

ИЗ ДНЕВНИКА *1790 год*

Итак, он не получил место Второго Капельмейстера. Но вместо того, чтобы покориться судьбе, этот безумец продал все бывшее в доме серебро и на свой страх и риск отправился во Франкфурт-на-Майне. Там совершалась коронация. И хотя Моцарта не приглашали, он решил попытать счастья у нового императора и заодно заработать деньги во время путешествия. Как он хочет вырваться в прежнюю жизнь! Сегодня я навестил Констанцу. Эта балаболка охотно мне показала все последние письма мужа. Вот что он писал ей:

«Моя любимая. Мы великолепно отобедали под божественную застольную музыку. Райское гостеприимство и восхитительное мозельское пиво. Какую великолепную жизнь мы поведем, когда я вернусь. Я мечтаю работать. Так работать, чтоб мы никогда более не попали в столь фатальное положение».

(Замечу: он сочиняет сейчас, не гнушаясь самым мелким заработком. Он написал ей, что сочинил музыкальную пьесу для часов какого-то мастера!..

«О, если бы это были большие часы и аппарат звучал как орган! Но инструмент состоит из маленьких дудочек… Ах, моя милая, это хвастовство, что в имперских городах хорошо зарабатывают. Люди здесь еще большие крохоборы, чем в Вене».)

Констанца пожаловалась мне, что сначала он писал ей дважды в день, но через некоторое время… письма прекратились.

Она вздохнула и сказала мне:

– Я слишком хорошо знаю своего супруга. Он опять… не смог устоять. Мой бедный… Я тотчас написала ему сердитое письмо…

Длиннейшее послание, полученное в ответ, она с гордостью зачла мне, периодически покрывая его поцелуями. Вот что писал ей Моцарт:

«Ты сомневаешься в моем желании писать тебе, и ты меня этим очень мучаешь. Ты должна все-таки знать меня лучше. Люби меня вполовину, как я люблю тебя, – и я буду счастлив… Когда я писал предыдущую страницу, у меня упало несколько слезинок на бумагу. Но позабавимся: лови! Не видишь? Вокруг летает удивительно много моих поцелуйчиков! Что за черт! Я вижу еще множество! Х-ха! Три поймал. Они – прелестны».

– Вы видите, как он раскаивается, – сказала она, вздохнув. – … Нет, на него нельзя сердиться.

И, покрыв в очередной раз поцелуями грязную бумагу, она продолжила чтение его письма:

«Боже мой, как я стремлюсь к тебе. Я совсем не могу оставаться в одиночестве. Надеюсь между 9 и 10 июня снова почувствовать тебя в своих объятиях. Я придумал нам новые имена: я – Пункитити, моя собака – Шаманатски, ты будешь – Шабле Пумфа… Ха-ха-ха!»

Все – напрасно! Он неисправим!

ИЗ ДНЕВНИКА *1791 год, май*

Мне стало известно: около Моцарта появился еще один гениальный проходимец – Иоганн Шиканедер. Он директор театра, он актер, режиссер и т. д. и еще величайший распутник. Все, что наживает, тотчас расточает. Но у этого мерзавца гениальное чутье. Он поистине человек театра. Говорят, что он масон и состоит в одной ложе с Моцартом. На днях Моцарт сообщил мне, что этот Шиканедер заказал ему волшебную оперу.

Констанца – в очередной раз в Бадене на очередные деньги купца Пухберга, и Моцарт поселился в театре Шиканедера. Сегодня я решил его навестить.

Театр находится во Фрайхаузе. Это длинная трехэтажная постройка с бесчисленными лестницами и дворами. Театр – в шестом дворе.

Там прелестный сад и садовый домик, где я и нашел Моцарта. Весь город уже наполнен слухами о самой бурной жизни, которую устроил Моцарту Шиканедер. Называют певичку из театра – мадам Герль. Но я застал Моцарта за чистым столом, заваленным партитурой. Никаких следов распутства или попойки. Напротив, было видно, что он сочинял всю ночь.

Вернувшись домой, как обычно, я записал весь наш разговор.

Моцарт. Я безумно скучаю по Штанци, барон, и я поехал в Баден. Пока она принимала ванны, я решил сделать ей сюрприз. Я попытался влезть в ее окно, чтобы встретить ее в доме… Лезу и чувствую – меня хватают за пятку. Оказывается, какой-то офицер увидел мои упражнения и решил, что я вор. Он пытался заколоть меня шпагой, он никак не мог поверить, что я лез в окно к собственной жене.

Он залился смехом.

Я попытался вернуть его к музыке.

Я. Итак, вы пишете волшебную оперу. Весьма легкомысленный жанр.

Моцарт. Зато двести дукатов. Это поистине находка в моем бедственном положении…

Он сыграл мне песенку из будущей оперы. И я понял: он опять вернулся в оперу-буфф. Опять! Будто не было «Дон Жуана»! Он увидел, что мне не понравилось. И сказал:

– Ну что ж, моя совесть чиста. Я сразу предупредил Шиканедера: если вас постигнет беда, я не виновен. Я никогда не писал волшебных опер.

После чего он вновь решил меня порадовать рассказом о любви к жене: он захотел непременно прочесть свое последнее письмо к Штанци. Пока он читал его нежным своим тенором, я немного задремал. И проснулся, когда он дочитывал последние строки:

«Будь здорова! И радостна. Ибо только если я уверен, что у тебя нет ни в чем недостатка – мои труды мне приятны. Желаю тебе самого хорошего и, главное, веселого. Не забудь воспользоваться твоим застольным шутом…»

(Замечу: шутом он называет боготворившего его музыканта господина Зюсмайера, которого послал помогать беременной Констанце. Он обожает превращать в шутов любящих его людей.)

«Почаще думай обо мне, люби меня вечно, как я люблю тебя, и будь вечно моей, Штанци, как я буду вечно твоим… Штукамер-пап-пер… Шнип-шнап-шнепер-спаи, ха-ха-ха и прочие дурачества… Это еще не все. Дай шуту Зюсмайеру пощечину и скажи при этом, что ты хотела убить муху… Ха… ха-ха. Лови. Би-би-би. Три поцелуйчика подлетают к тебе, сладкие, как сахар».

Он сидел по уши в долгах и хохотал. И тогда я окончательно понял: я идиот. Деньги, нищета… на самом деле не затрагивают его глубоко. Решить, что нищета сможет помочь ему родить поистине строгую музыку? Какая глупость. Все эти ужасные слова, которые он пишет мне и купцу Пухбергу… все это только снаружи. Внутри он по-прежнему остается веселым и легким Моцартом. И вот тогда, говоря языком моего отца – лейб-медика,

мне и пришло в голову «сильнодействующее средство».

ИЗ ДНЕВНИКА *16 сентября 1791 года*

В шесть часов пополудни ко мне явился Моцарт. Он вернулся недавно из Праги, где состоялась премьера его новой оперы. (Нет-нет, это не волшебная опера, которую ему заказал Шиканедер.) Это заказ чешских сословий по случаю коронации нашего императора Леопольда чешским королем. Я слышал, что эта новая опера провалилась в Праге. Императрица назвала ее «немецким свинством». Вот запись нашей беседы.

Я. Рад вас обнять, мой дорогой Моцарт. Вы выглядите усталым.

Он хотел что-то ответить, но сильно закашлялся.

Моцарт. Простите, после возвращения из Праги я все время болею. И принимаю лекарства.

Я. Я так надеялся повидать премьеру волшебной оперы.

Моцарт. Мне пришлось все отложить. В доме совершенно нету денег. А тут Господь послал нам сына. И вдруг счастье: пришел этот заказ из Праги. Господь опять не оставил нас.

Он вновь закашлялся.

Моцарт. Заказ не терпел отлагательств. Я подумал: если вдруг умру – У Констанцы ничего нет! Одни долги. А тут сразу двести дукатов! И я писал оперу в карете, в гостинице… спешил, спешил успеть к торжествам… Всю жизнь, дорогой барон, я спешу… двести дукатов! Но сразу столько расходов! Констанца опять уехала в Баден на воды, а я не могу жить один. И вот теперь я опять спешу…заканчиваю «Волшебную флейту»… так мы пока назвали оперу… может быть, придумаю название получше… Но меня очень беспокоит, барон, совсем иная работа. Мне пришлось ее также отложить из-за пражских торжеств.

Он был бледен – ни кровинки.

Моцарт. Это случилось в июле. Мы готовились ко сну, когда пришел этот человек. Это был худой, очень высокий мужчина… в сером плаще, несмотря на душный вечер. Он принес мне письмо без подписи. В письме было множество лестных слов по моему адресу. В конце было три вопроса: не хочу ли я написать музыку погребальной мессы? За какой срок и за какую цену? Я уже как-то говорил вам: я и сам мечтал потрудиться в церковной музыке. Но это письмо отчего-то меня взволновало. Штанци удивилась моим колебаниям. И я согласился. Но потребовал сто дукатов и не связывать меня сроком. Если быть искренним, я поставил эти условия в надежде, что аноним откажется. Я не могу объяснить, почему этот заказ так меня встревожил. Но вскоре серый господин явился вновь, передал сто дукатов и согласие на все мои условия. С какой-то странной улыбкой он предупредил: не

следует трудиться и узнавать имя заказчика, ибо узнать все равно не удастся… Хотя я не был связан никаким сроком, я тотчас начал трудиться. Я работал день и ночь, я отодвинул даже волшебную оперу. И в этот момент последовал заказ из Праги. И я вынужден был оставить Реквием. В Праге я провалился.

Я. Ну что вы, милый Моцарт, просто трудно было слушать серьезную оперу во время таких торжеств.

Моцарт. Нет, нет, я провалился. Это моя первая неудача в Праге. И я не сомневаюсь: это наказание за то, что отодвинул Реквием. Когда мы с Констанцей уезжали в Прагу и уже садились в карету, я увидел руку на ее плече. Это был он!.. Серый незнакомец. Он спросил: «Как дела с Реквиемом?» Я извинился, объяснил обстоятельства. Обещал взяться сразу по возвращении. И вот – опять не удается. Шиканедер требует завершения «Волшебной флейты». Но все равно: он – со мной.

Он был невменяем. Он бормотал: «Я ясно вижу его во снах. Он торопит. Негодует. И знайте, барон: мне все больше кажется, что это не просто Реквием. Это Реквием для меня самого».

Да, впервые я видел его до конца серьезным. Ибо он… он уже был охвачен грядущей смертью. А я… я – ощущением того великого, что он создаст. Создаст – благодаря мне!

Мое разъяснение

Все началось в доме моего давнего знакомца графа фон Вальзег цу Штуппах. Граф – отличный флейтист. Он держит прекрасный оркестр. Но у него слабость: он мечтает прослыть композитором, хотя ленится сочинять. Он предпочитает тайно заказывать музыку хорошим композиторам. Недавно умерла его жена, царство ей небесное. И вот когда я приехал засвидетельствовать соболезнование, граф обмолвился, что желает сочинить Реквием по случаю ее кончины.

Я. Это достойная мысль, граф. Я с нетерпением буду ждать вашего сочинения. В церковной музыке мало кто может с вами соперничать… Ну разве что… Моцарт.

По его глазам я понял: он внял моему совету. В это время в комнату вошел его служащий, господин Лойтгеб… Я знаю этого господина: это он обычно выполняет подобные деликатные поручения. Он длинный как жердь и худой как смерть. В вечно серой одежде. Я легко представил, что случится, когда он явится к впечатлительнейшему Моцарту и закажет Реквием. Да. Я не ошибся!

ИЗ ДНЕВНИКА *14 октября 1791 года*

Я продолжаю пожинать плоды. На днях был на премьере «Волшебной флейты». Зал переполнен. Моцарт ввел в мою ложу Сальери и его любовницу – певицу госпожу Кавальери. Сальери,

как всегда, начал рассказывать о своих триумфах. Я давно примирился: жрецы искусства с интересом могут говорить только о себе. В кульминации рассказа, к счастью, погас свет и заиграли увертюру. Опера прошла великолепно. Даже Сальери был растроган и впервые забыл говорить о себе. Когда вошел Моцарт, Сальери его обнял. Привожу их знаменательный разговор:

Сальери. Опера достойна исполняться, дорогой Моцарт, перед величайшим из монархов. Это – «опероне».

(То есть – оперище.)

Сальери. Я обнимаю вас, великолепны вы, великолепны певцы, великолепно все!

(От себя добавлю: в течение действия я все думал – неужели это то, что совсем недавно он играл мне? Вот уж поистине волшебная опера, так в ней все волшебно преобразилось! Вместо оперы-буфф родился этот фантастический слиток возвышенной печали и сверкающего смеха. И какой вкус! Гений – это вкус.)

Сальери. Какая прекрасная идея: одеть пустячную сказку в философские масонские одежды. Масонские символы в опере прекрасны.

Один я знал: не в масонских символах дело. За оперой маячила тень Реквиема. Сладкий привкус смерти. О нет, не масоны! Моя выдумка родила сегодняшнее чудо.

ИЗ ДНЕВНИКА *17 ноября 1791 года*

Только что от меня ушла Констанца. Вот запись этой очень важной беседы.

Констанца. Я не знаю, что делать! Я схожу с ума. Уже три недели, как я вернулась из Бадена и нашла его совершенно изменившимся. Он не выходит из дома. И сидит, и сидит над этим проклятым Реквиемом.

(Я не мог сдержать лихорадочных вопросов: «Ну как?! Как?!»)

Констанца. Реквием почти закончен, но я принуждена отобрать его у Моцарта.

Наверное, я побледнел.

Я. Вы… сошли с ума?!

Она была удивлена моим волнением.

Потом сказала: «Прочтите это письмо. Я нашла его на столе. Он написал его ди Понте».

Я начал читать… Это – длинное письмо, где были действительно страшные строки:

«Я не могу отогнать от глаз образ неизвестного. Постоянно вижу его перед собой. Он меня умоляет, торопит и с нетерпением требует мою работу. По всему чувствую, что бьет мой час. Я кончил прежде, чем воспользовался моим талантом. Жизнь была так прекрасна, карьера начиналась при таких счастливых

предзнаменованиях!.. Я понял, передо мной моя погребальная песнь».

– Он и мне написал столь же ужасное, – сказала она, когда я закончил это письмо. И она прочла мне вслух несчастным голосом: – «Я не могу тебе объяснить, дорогая, мое ощущение. Это некая пустота, она причиняет мне почти боль… Какая-то тоска, которую никак не утишишь. Она никогда не пройдет и будет расти изо дня в день». Мне страшно! – сказала она, всхлипывая. – Вчера мы гуляли по Пратеру и он вдруг заплакал, как ребенок. И сказал: «Я слишком хорошо понимаю: я долго не протяну. Конечно, мне дали яд. И я не могу отделаться от этой мысли».

Я. И кто же ему дал яд?

Констанца. Он говорит – Сальери. Он привез Сальери на премьеру, и потом они ужинали вместе. **Я.** Что за чепуха!

Констанца. Он невменяем, господин ван Свитен. И поэтому я отобрала у него Реквием. И помогло: он немедля успокоился. Прошло уже две недели без Реквиема… Слава Богу, здоровье его улучшилось. Он сумел закончить масонскую кантату и даже ее продирижировал… но вчера он опять потребовал назад Реквием.

Я пришла спросить у вас совета, барон: как отвлечь его от этой ужасной мысли?

Я был в ужасе: неужели эта глупая курица не даст завершить? Лишит меня величайшего наслаждения? И музыку – величайшего творения?

Сальери. Если бы я знал… Почему вдова не обратилась ко мне?! Я охотно дал бы денег.

Я. Это говорят теперь все. Но втайне радуются, что не обратилась. Кстати, Сальери, почему вы сами не обратились к вдове? Вы ведь знали, что он нищий.

Сальери. А вы?

Я. Я скуп.

Сальери. Как быстро закончилась жизнь, начавшаяся так блестяще.

Я. Ну что вы, Сальери. Все у него только начинается. Теперь и вы… и я… и император, и все мы только и будем слышать: МОЦАРТ! Теперь все мы лишь его современники. Люди обожают убить, потом славить. Но они не захотят признать… никогда не захотят, что они… что мы все – убили его. Нет-нет, обязательно отыщут одного виноватого… И я все думаю: кого они изберут этим преступником, этим бессмертно виновным? И я понял.

Сальери. Кого же?

Я. Вас. Он ведь вас не любил. Так не любил, что даже жене пожаловался, что вы его отравили. **Сальери.** Какая глупость!

Я. Отчего же? Ведь вы травили его, Сальери. Вы не давали ему поступить на придворную службу. А где травили, там и отравили. Какая разница. Ведь вы поэтому пришли на отпевание. Замолить грех. Но поздно, милейший.

Мне нравилось пугать этого самовлюбленного и, в сущности, доброго глупца.

ИЗ ДНЕВНИКА *17 февраля 1792 года*

Сегодня, в Вене в зале Яна по поручению госпожи Констанцы Моцарт я, Готфрид ван Свитен, с большим успехом исполнил Реквием Вольфганга Амадея Моцарта.

Добавление из дневника *1801 год*

Сальери воспринял слишком всерьез все, что я когда-то ему сказал. Сейчас, когда мое предсказание сбылось, когда слава Моцарта растет с каждым днем, у Сальери бывают странные нервные припадки. Я даже слышал, что порой, пугая домашних, он вопит, что убил Моцарта.

Ну что ж, хоть один из нас – признался!

Прогулки с палачом

Зимой 1996 года я приехал в Париж. И все представлял, как ровно сто лет назад были в Париже – Они…

Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию – после того, злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив (его убьют потом – бомбой).

Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали: красавица императрица, Государь – милый молодой человек в военной форме – и очаровательная дочка.

Он записал в дневнике:

«25 сентября произошла закладка моста, названного именем папа. Отправились втроем в Версаль. По всему пути, от Парижа до Версаля, стояли толпы народу, у меня почти отсохла рука, прикладываясь. (Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. – *Э.Р.)* Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны… Залы и комнаты интересны в историческом отношении».

Это «историческое отношение»… Оно уже тогда должно было Их поразить.

С площади Согласия (бывшей площади Революции) хорошо видны колонны церкви Святой Магдалины. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той, французской королевской четы – во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты. И окончился страшными жертвами – сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование! Не к добру такое начало совместной жизни!

И у Них тоже произошло страшное и тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж, во время коронации…

Они приехали на Ходынское поле – сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне – вся знать Европы. Но Они знали – все утро отсюда вывозили трупы: во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти две тысячи несчастных…

И тот же страшный шепот: не к добру это! С кровавой приметы начинается царствование!

«Интересны в историческом отношении»… Только потом царь узнает, как связан был с Ними Париж в этом самом «историческом отношении». Какой пророческой оказалась

безликая фраза! Все, что узнали Они тогда в Версале, повторится в Их жизни.

Был мягкий, безвольный Людовик – и Николая будут называть мягким и безвольным.

И две Елизаветы – сестра Аликс, набожная основательница Марфо – Мариинской обители. И другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой – сестра Людовика XVI.

Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей. И его жена – властная и надменная красавица. И та же ненависть народа к королеве – Марию Антуанетту называли «австриячкой» и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть «немкой» и обвинять в прелюбодеянии с мужиком. И ненавидеть! Так же ненавидеть!

И как те в любимом Версале, Они в любимом Царском Селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками.

На кладбище у церкви Святой Магдалины Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашеной известью. И Их впереди ждала такая же участь – безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда такие счастливые по Парижу!

Осквернённый собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей… Поруганные мощи святых (святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену)…

Страшное кладбище у парка Монсо (оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай)… На этом кладбище они лежали вместе – блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры…

Все эти воспоминания времен Французской революции станут Их будущим. Возвращаясь из Версаля, Они не знали: перед ними было зеркало.

Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году.

И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать *по-французски* — «abdique» (отрекся). И, должно быть, вспоминать, как Они стояли в той зеркальной зале. Зеркала Версаля…

Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был

уверен в своем трагическом предназначении. И, конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия Революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до Революции другим мистиком, неким Казотом.

Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств.

Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с Галантным веком: несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам (в век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они хотели быть модными). Приглашен был и Казот – философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось – Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение.

Однако настойчивые дамы победили. И он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение – тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным сооружением…

Он описал его. Впоследствии оказалось: он описал *гильотину*… за двадцать лет до ее изобретения!

Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное – *очередь* людей, поднимавшихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции. И что самое ужасное – в ней были все присутствовавшие в тот вечер. И первым стоял он сам – Казот! Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега, и оттуда высаживались очередные жертвы…

После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить:

– В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне по крайней мере право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже.

– Нет, – вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом. – Право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге.

Поразительно: пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на

гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах: как спокойно, но «без наглой самоуверенности» взошел он на эшафот. Что ж, двадцать лет назад Казот все это уже пережил – так что он *приготовился!* И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти.

Это был он – Месье де Пари, палач города Парижа Шарль Анри Сансон.

Ради него я и приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, – решил подышать, так сказать, «теми же воздусями» и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно сто лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехалась по Парижу – по древнему кварталу Маре с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни Революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг… От площади Республики и идет та самая улица Шато д\'О. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы! Ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя.

Дом Сансона. Палача Сансона. Сансона Великого. Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописания – и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой… Но мы-то хорошо понимаем этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения.

В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие (это была тогда окраина Парижа), завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы…

а он шел. Один. Он тогда был молод, высок, красив.

Он привык разговаривать сам с собой. Ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников.

Сансон – палач города Парижа… Именно в те молодые годы он и начал вести Журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. И я все представлял, как уже потом – старый, разбитый

болезнью и страхом – пытался описать он свою жизнь. Жизнь, столь необыкновенную именно «в историческом отношении»…

И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было – одно далекое, невнятное бормотание… Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался… Только впоследствии я понял: я переносил на бумагу чужие мысли. Его мысли. Я обнаружил их потом в «Записках палача», написанных его внуком.

Это были те же мысли, но… одновременно и *другие!*

И тогда мне стало казаться – он сам говорил со мной.

Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа Вариации на тему «Записок палача»

Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и Я – мы шествуем вдвоем.

Я иду и думаю – как всегда, об одном и том же.

С тех пор как существует человечество – существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Исполнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!

Возьмем самое легкое – бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет, поусердствовали, выдумали – и поручили палачу волочить по городу несчастного, привязанного к телеге, а на каждой площади останавливаться и сечь! Сечь!

Но бичевание – это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали – и поручили палачу! И презирали его за это.

Венец нашей работы – смертная казнь. И опять: людям мало убить – им надо еще мучить, мучить, мучить!

Смерть на кресте – самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего, сколько новых казней придумали – и куда страшнее!

Колесование! После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе – мне все мерещится, все снится, как я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык… Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не «ласкает» палач! Но и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол… О, изобретательное человечество!

А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения… Им интересно! Складывается костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу… Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа – смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди – это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость: при сожжении на костре мы ставим багор

с острым концом для перемешивания соломы точнехонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучений от огня…

Кого мы только не сжигали на кострах: еврея – потому что он не христианин; христианина – потому что он протестант; католика – потому что он стал атеистом… Люди приказывали – и мы сжигали! И они же нас за это презирают.

Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть Исполнителем? Точнее – презирают и боятся… Боятся? Еще бы! При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятьях палача.

В заключение назову две самые простенькие казни – на виселице (для простолюдинов) и от меча (для дворян). Даже здесь, на последнем пути, – нет равенства.

Впрочем, Великая Революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравняла в смерти. Был принят закон: с 1790 года казнь для всех граждан стала единой – гильотина.

О том, что вышло из этого «облегчения», вы вскоре узнаете из моего рассказа.

Во Франции должность палачей – наследственная, передается от отца к сыну. Не важно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец. С этого мгновенья ты – *палач!*

В нашем доме была комната, где висели мечи (каждый имел свою историю). Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачей – как скипетр королей – передавали мы, Сансоны, из рук в руки, от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери – быть ему палачом!

Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон – Сансон Первый.

Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода: поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали…

Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте.

В судебных актах города записана такая история: «Когда руанский палач потребовал от своего зятя нанести железным шестом удар преступнику, зять упал в обморок, и это сопровождалось хохотом толпы».

Но уже вскоре Шарль Сансон не только привык к казням – он преуспел в них. О его ударах мечом гремела такая слава, что

после смерти жены ему тотчас предложили уехать из Руана и стать палачом Парижа. Он переехал туда и поселился в месте, которое народ звал «Дворцом палача». Это было мрачное восьмиугольное строение с башенкой, около которой привязывали приговоренных к позорному столбу. Рядом шумел парижский рынок – там прадед брал припасы и товары. Таков был закон: палач мог взять с рынка столько, сколько мог унести в руках. Но он уносил слишком много, и однажды толпа торговцев подожгла его дом. Тогда мой предок и решил переехать в пустынный квартал, называвшийся Новой Францией, – теперь это часть Пуассоньерского предместья.

Ему было за шестьдесят, когда он женился на молодой женщине – разумеется, тоже родственнице палача. И в 1703 году, в самом начале века, который сделает наше имя воистину знаменитым, Шарль Сансон передал свою кровавую должность моему деду, ибо «душа почтенного старца осветилась нежными утехами любви». Он захотел отдохнуть от крови.

Я не смогу перечислить всех, кого покарал меч моего деда – Сансона Второго, ибо он, к сожалению, весьма неаккуратно вел Журнал казней. Отмечу, пожалуй, только Картуша. Это был великий грабитель, о подвигах которого народ до сих пор слагает легенды. (Дед колесовал его в 1721 году на Гревской площади.)

Тогда было много грабежей, целые банды нищих разбойничали на дорогах Франции… Людовик XIV умер, оставив страну в состоянии печали и крайнего разорения. Правил пятилетний король, вернее, его регент – герцог Орлеанский, провозгласивший очаровательный закон: «Запрещено все, что мешает наслаждению».

И действительно, после мрачного аскетизма последних дней Людовика XIV двором овладело безумие удовольствий. Сам бедный регент попросту сгнил от дурных болезней – этими «дорогими наградами, полученными от самых разнообразных прелестниц», «доблестными ранами, заработанными на поле самого восхитительного из сражений», герцог поистине гордился. В то время топор палача часто бездействовал, и жертвы были малопримечательны – в основном все те же грабители, доведенные нищетой до преступлений.

Сансон Второй умер в 1726 году, сорока пяти лет от роду. Он оставил двух сыновей – Жана и Николя. И несмотря на возраст, старший из них, семилетний Жан, был тотчас посвящен в звание палача. А на время его малолетства обязанности палача были возложены на некоего месье Гаррисона. Он-то и заставлял несчастного ребенка присутствовать при казнях на Гревской площади, ибо без Исполнителя казнь незаконна и является

попросту убийством. И маленькая кукла – мой будущий отец – стояла на кровавом эшафоте и смотрела, как рубили головы… Я думаю, именно тогда нестерпимый ужас поселился в детском сердце – оттого Жан Сансон так недолго орудовал на эшафоте. Отца разбил паралич, когда мне было только семнадцать лет. Я уже упоминал о комнатке в нашем доме, где в полумраке на стенах висели мечи – наши родовые мечи палачей, – выбирай любой! С детства я любил приходить туда. В колеблющемся пламени свечи сверкали лезвия… На всех этих великолепных широких клинках с удобными рукоятками кованого железа было вырезано одно слово – ПРАВОСУДИЕ.

Я много слышал от матери о своих предках – как они страдали от человеческого презрения, как таились от людей, как редко выходили из дому, стесняясь взглядов прохожих… Ничего этого во мне не было – я с детства ощущал себя палачом и с гордостью готовился к этой роли. Я презирал людское презрение.

Когда я взошел на эшафот в первый раз, отец рубил голову знатному дворянину. Помню, как тот ослаб и как отец ободрял его – когда-то гордого вельможу. Мне понравилось… И когда отец, побежденный болезнью, более не мог действовать мечом – меч оказался в надежных руках. Может быть, впервые в нашем роду за него взялся тот, кто хотел быть палачом.

Однако больной отец прожил еще два десятилетия. Все это время я без него орудовал на эшафоте, но… отец был жив, и потому он по-прежнему считался палачом города Парижа. С трудом шевеля ногами, тяжело дыша, он поднимался на эшафот и стоял в стороне – наблюдал за моей работой… Исполнителем я был утвержден только после смерти отца в августе 1778 года.
Между тем работы становилось больше – король старел, характер у него портился… И все чаще мне приходилось встречаться на эшафоте со знаменитостями. Вся Франция следила за моим топором, когда четвертовали беднягу Дамьена, покусившегося на жизнь самого короля.

Это случилось холодной ночью: король направлялся к карете, дрожа в своем модном рединготе (он был великий модник, наш Луи XV). Он уже было поставил ногу на подножку, когда этот Дамьен – самый что ни на есть простолюдин, чей-то слуга – проскользнул мимо гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. По воле Всевышнего лезвие прошло между ребрами и не задело ни одного драгоценного органа короля. Дамьена схватили, и я его четвертовал… Как мучился этот несчастный, когда мы с помощниками рвали его тело клещами, когда раздирали его плоть на части мчавшиеся в разные стороны лошади… На эшафоте со мной был дядя Николя – палач дворцового ведомства.

Но всей длинной и ужасной казнью руководил я, и выдержал, а вот несчастный дядя сразу отказался и от должности Исполнителя приговоров дворцового ведомства, и от довольно большого дохода – 24 000 ливров в год. Так я стал единственным палачом города Парижа.

Впоследствии, в дни Революции, я вспоминал этого Дамьена, вернее, его странное послание королю. Вот оно: «Я глубоко скорблю, что имел несчастье к Вам приблизиться и смел причинить Вам боль… Но если Вы, Ваше Величество, не перейдете на сторону Вашего народа, то в самое короткое время, может быть, через несколько лет, Вы сами, и дофин, и еще некоторые лица неизбежно должны будете погибнуть». Королю эти слова, конечно же, показались безумием. Но уже его сыну они покажутся пророчеством.

Именно тогда, после смерти Дамьена, мне попался на глаза Журнал отца, в котором он записывал имена жертв и подробности казней. Оказалось, все мои предки заполняли Журнал – правда, бегло и плохо. Я решил продолжить сей кровавый реестр, но куда аккуратнее и подробнее – будто предчувствовал, со сколькими замечательными людьми мне доведется встретиться… увы, на эшафоте!

Между тем отец мой хирел на глазах Но у него были мы – семеро сыновей, унаследовавших его ремесло. Теперь Сансоны рубили головы в Реймсе, Орлеане, Суассоне, Монпелье, Дижоне… И когда мы сходились у отцовского стола, слуги почтительно называли нас по местам службы – Месье де Реймс, Месье д \'Орлеан, Месье де Дижон…

Эти домашние прозвища вскоре стали официальными. Так я стал называться Месье де Пари.

Никто никогда не смел говорить в доме о крови, об эшафоте. Наши беседы с братьями за столом были самыми светскими, самыми возвышенными – о пьесах месье Мольера, о чудачествах месье Вольтера, о музыке месье Рамо… Кстати, все мои братья-палачи (впрочем, палачами мы никогда себя не называли, только официально – Исполнителями) обожали музыку и превосходно играли на самых разнообразных инструментах. Я, Месье де Реймс, Месье д\'Орлеан и Месье де Дижон составляли превосходный квартет.

Но если все-таки приходилось говорить о казни, мы называли ее «делом». Допустим: «Мне придется завтра встать пораньше – у меня дело».

И все! И баста!

Кроме братьев, редко кто посещал наш дом. Да что я говорю – «посещал»! Люди старательно мыли руки, если случайно

здоровались с нами. Аббат Гомар был одним из немногих, которые тогда решались приходить к нам. Этот францисканец часто стоял на эшафоте вместе с Исполнителем – помогал несчастным осужденным встретить последний час.

Палач направлял их к Всевышнему, священник – напутствовал.

За столом после рюмки хорошего вина отец Гомар бывал весьма словоохотлив. И однажды я узнал, что у него есть племянница – Жанна де Вобернье, существо очаровательное, но совершенно погрязшее в пороке. По словам аббата, Жанну сгубила ее замечательная красота: «Как жаворонка заманивают в клетку блеском зеркала, так одна проклятая куртизанка заманила мою пташку прелестями легкой жизни и посеяла в ней семена порока, каковые теперь дали такие пышные всходы!»

Порок меня тогда не особенно отпугивал, а красота привлекала. Я выведал у аббата, где живет сия порочная красавица, и, убедив себя (для облегчения души), что я должен вернуть ее на стезю добродетели, стал караулить у ее дома.

Это очень длинный рассказ – как я сумел очутиться в ее доме, как предстал перед нею (естественно, назвавшись иным именем), как увидел эти лазоревые глаза, эти коралловые губки и неправдоподобно роскошную копну белокурых волос…

Жанна полулежала на красном диванчике. Я пал к ее ногам… Что было потом – я унесу с собой в могилу.

Впоследствии моя красавица Жанна, столь щедрая на любовь, пленила стареющего короля. Да, это была она – та, которая сделалась всевластной графиней Дюбарри. Она правила и сердцем короля, и Францией…

Но это потом… А тогда, во время наших встреч, она любила вспоминать, что родилась в Вокулере – в той самой деревушке, где родилась другая Жанна – Жанна д\'Арк.

Она уже тогда была уверена в своем предназначении и говорила мне, что у нее будет что-то общее с судьбой той, великой Жанны. Что ж, она не ошиблась – они обе приняли нелегкую смерть.

Еще я помню, как однажды, уговаривая ее о свидании, я сказал жалкую фразу безнадежно влюбленного:

– Не прогоняйте меня, я могу вам еще пригодиться!

И я тоже не ошибся! Я пригодился ей – через двадцать лет на эшафоте.

Все эти годы я ее не видел, но имя Дюбарри было у всех на устах. Перед самой Революцией о ней много говорили в связи с «Делом об ожерелье королевы». (Впрочем, и мне пришлось сыграть печальную роль в этом деле.)

Госпожа де ла Мотт, потомица незаконного сына Генриха II, вышла замуж за бедного королевского телохранителя. Нужду она, в чьих жилах текла кровь древней королевской династии Валуа, сочла для себя незаслуженной участью. И придумала, как обогатиться.

Она узнала, что у парижских ювелиров находится необычайно дорогое ожерелье, которое покойный король предназначал для Дюбарри, но не успел выкупить. После его смерти казна была столь разорена, что королевской чете пришлось отказаться от ожерелья (хотя Мария Антуанетта была от него в восторге). Де ла Мотт придумала великолепную интригу…

Кардинал де Роган мечтал о красавице королеве. И де ла Мотт устроила ему встречу с ней, и королева попросила его купить для нее ожерелье. (На самом деле роль королевы сыграла некая девица Олива, необычайно на нее похожая.)

Кардинал согласился, и муж де ла Мотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось, мошенницу де ла Мотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле.

Около шести утра мои помощники разложили ее на эшафоте во дворе тюрьмы Консьержери. Она кричала и проклинала нас. Я дал ей двенадцать ударов розгами – двенадцать ударов по заднице особе королевской крови!

После розог, когда она – с распущенными волосами, в изодранном платье – как пантера металась по камере, я связал ее, взял железо из жаровни и придавил к ее телу. Связанная, она продолжала отбиваться, и лишь кое-как мне удалось наложить клеймо и на другое плечо…

В ушах у меня до сих пор стоит ее крик: «Ты, жалкий палач, смеешь прикасаться к телу королей, ты, грязный ублюдок!»

Она была права – это было мое первое надругательство над королевской плотью.

Была она права и в другом – для людей я был ублюдком, вызывавшим в них страх и отвращение.
И они мне постоянно это доказывали.

Помню, однажды познакомился я с дамой. Благородной дамой. Я был тогда молод, хорош собою, высок, великолепно сложен. У женщин я имел большой успех (естественно, под чужим именем). Я старался изысканно одеваться, хотя и не мог носить голубой цвет – цвет французского дворянства. Однако я не стал рыться в древних пергаментах и поднимать вопрос: лишает ли должность палача звания дворянина. Я попросту заказал себе самое дорогое платье, но из светло-зеленого сукна. Оно так

хорошо на мне сидело, что этот цвет вошел в моду, и щеголи при дворе начали носить вместо голубого мой светло-зеленый.

Именно тогда я обратил на себя внимание маркизы Х. Мы встретились на обеде, оживленно беседовали. На вопрос о моей службе я ответил, что состою офицером при Парламенте (что было почти правдой – ведь я исполняю высшие приговоры Парламента). Но кто-то из гостей узнал меня, и, когда я ушел, госпожа Х. узнала всю правду. Клянусь, она не была бы в большей ярости после знакомства с величайшим преступником!

Она даже подала жалобу в Парламент – требовала, чтобы меня выставили у позорного столба, чтобы я просил у нее прощения с веревкой на шее!

И тогда я выступил в Парламенте и спросил: как я мог обидеть ее знакомством со мною? Сам Бог влагает меч правосудия в руки короля, но, разумеется, сам король не может карать преступников, и он доверяет меч нам – Исполнителям! Я – хранитель меча правосудия, которое составляет атрибут королевской власти. Я укрощаю безумие преступных граждан, и только тупая чернь смеет покрывать позором мое звание. Приходится только сожалеть, что сие предубеждение разделяют порой и порядочные люди…

Они не посмели меня осудить, но их лица выражали презрение и брезгливость. Они старались не смотреть на меня… Что же касается маркизы Х. – впоследствии ей пришлось оценить важность моего занятия. В дни Великой Революции она вновь встретилась со мной – на эшафоте. И это я опустил на ее глупую голову нож гильотины.

Тогда же я женился. Мне опостылело заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу! И вот мне посчастливилось.

В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за тридцать, она уже смирилась с тем, что останется старой девой.

Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, к которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие.

На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И Месье д \'Орлеан, и Месье де Реймс, и прочие братья веселились как обычные добрые буржуа.

Кровь осталась за дверью.

Я купил дом на улице Шато д\'О под номером 16. Моя жена

разбила там великолепный цветник.

Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее.

Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай – дважды в день мы собирались на молитву… И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина…

Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она – наша Великая Революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет.

Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный, некий Лушар, совершил отцеубийство – случайно, защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию.

Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигали под угрожающий ропот.

Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер. И люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он – мой эшафот!

Палачи понимают толпу: люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля, они хотели беспорядка, они наслаждались погромом…

А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал, и там тоже весело танцевали – в отсветах грозного костра… Революция упадет как снег на их головы!

Его Величество Людовик XVI… Его бедное жалкое Величество! Я три раза встречался с несчастным королем.

Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением: мне не заплатили жалованье – в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль.

Я остановился на пороге залы, сверкающей мрамором, зеркалами и позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию.

– Я приказал, – молвил он, не оборачиваясь, – заплатить вам указанную сумму.

Именно тогда, рассматривая его спину – эту презирающую меня спину, – я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника.

На прощание ему все-таки пришлось обернуться. И король – клянусь! – не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас!

Он будто почувствовал, *где* я увижу вновь эти мускулы шеи…

И еще: при выходе из дворца я увидел двух женщин. Одна была – сама величественность и надменность, другая – сама доброта. Это были они: королева и сестра короля – принцесса Елизавета. Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки…

Как весело началась Революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей «зловещей тюрьме тирана» оказалось всего несколько заключенных (один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру).

Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционным тюрьмам.

Свобода, Равенство и Братство! Или Смерть! О Великая Революция!

Равенство и Братство… Уже 23 декабря 1789 года (этот день – навсегда в моем сердце) на заседании Национального собрания разгорелась дискуссия. Депутаты предложили уничтожить унизительные ограничения, существовавшие для некоторых профессий. В частности, для нас (Исполнителей приговоров) и театральных актеров.

С актерами было все ясно, но палачи стали предметом дискуссии. Два выступления я переписал в Журнал.

Депутат аббат Мари: «Это не предрассудок и не предубеждение. Это справедливость. Каждый человек должен испытывать содрогание при виде господина, хладнокровно лишающего жизни своих ближних. Это основано на понятиях Чести и Справедливости».

И тогда поднялся бледный щуплый человек. Он также (правда, несколько монотонно) заговорил о величии Свободы, Равенства и Братства, о непременном торжестве Всеобщей Справедливости. И потому, заключил он, человек не может быть лишен своих законных прав за исполнение обязанностей, предписанных ему во имя Закона!

Так я в первый раз увидел Робеспьера. И так Революция дала палачам равные права с другими гражданами. Разумные люди даже требовали запретить само постыдное слово «палач» и ввести только наше официальное наименование – «Исполнитель высших приговоров уголовного суда». Но это предложение как-то утонуло в речах…

Депутаты обожали говорить.

Я часто встречался с депутатом Национального собрания доктором Гийотеном. Только впоследствии я оценил, каким великим человеком он был. Ибо он, Гийотен, предчувствовал будущее. Не будь его, мы, Исполнители, попросту задохнулись бы

в потоке жертв, которые поставит нам Революция. Куда мне, единственному парижскому палачу, было справиться с той бессчетной чередой осужденных, которую когда-то предсказал несчастный Казот? Здесь и армия палачей не справилась бы!

Гийотен был совершенно свободен от предрассудков в отношении моей профессии. Мы часто собирались у меня дома и музицировали. Он превосходно играл на клавесине, я – совсем недурно на скрипке.

И вот однажды играли мы арию из «Тарара» и размышляли о едином и равном для всех наказании – эта проблема очень занимала Гийотена.

– Виселица? – спросил он.

– Нет, – ответил я, – трупы повешенных сильно обезображиваются. Это портит нравы – ведь преступники подолгу висят на потеху толпе.

И мы опять играли. И размышляли.

– Нет, что ни говорите, доктор, – высказал я свое мнение, – но отсечение головы – самый приличный способ казни. Недаром его удостаивались одни привилегированные сословия.

– Правильно, – сказал он. – Но благодаря равенству перед законом, теперь этим способом могут пользоваться все!

Я прервал его восторги:

– Вы представляете, сколько теперь может быть таких казней? – (О, если бы мы могли тогда представить!) – И какая должна быть верная рука у палача и твердость духа у жертвы? А если осужденных много, то казнь может обратиться в страшные муки вместо облегчения…

Я привел много доводов. Мы опять задумались и продолжили нежную арию. И тут Гийотен высказал то, о чем я давно думал:

– Надо найти механизм, который действовал бы вернее руки человека! Нужна *машина!*

– Браво! – воскликнул я.

И Гийотен стал еще чаще заходить ко мне – обсуждать, какая это должна быть машина. К счастью, был еще один музыкант, который порой присоединялся к нам. Это был немец – некто Шмидт.

В тот вечер мы составили великолепное трио, но наше музицирование весьма часто прерывалось рассуждениями о будущем аппарате.

– Там должна быть доска, и обязательно горизонтальная, чтобы осужденный лежал неподвижно… это очень важно, – говорил я.

– Именно, именно, – восторженно подхватывал Гийотен, играя нежнейшую арию из «Орфея и Эвридики».

Шмидт внимательно слушал наш разговор. Надо сказать, что он был механиком, занимавшимся изготовлением фортепьяно. Когда Гийотен ушел, Шмидт молча подошел к столу и набросал рисунок карандашом.

Это была *гильотина* !

– Но мой не хочет замешивать себя в этой штук… не надо говорить про мой… – сказал Шмидт.

Я взглянул на рисунок и не смог удержаться от крика восхищения. Там было все, о чем может мечтать палач: дернул за веревку – и лезвие ножа скользит между двух перекладин, падает на шею привязанного к доске осужденного… О, как это облегчало наш нелегкий труд – теперь любой гражданин мог стать палачом! Я расцеловал Шмидта, и, чтобы унять охватившее меня возбуждение, мы продолжили играть нежнейшую арию. Уже на другой день я зашел к Гийотену. Он был вне себя от счастья!

Я присутствовал на заседании Национального собрания, когда Гийотен восторженно сообщил о новом изобретении. Как и хотел того Шмидт, о его участии не было сказано ни слова. И аппарат был назван (и совершенно справедливо) в честь отца идеи – доктора Гийотена!

Помню, описывая достоинства машины, добрейший Гийотен забавно сказал:

– Это гуманнейшее из изобретений века. Осужденный почувствует лишь слабый ветерок над шеей… Поверьте, этой машиной я так отрублю вам голову, что вы даже и не почувствуете.

Как хохотали граждане депутаты! Они не знали, что большинству из них предстоит испытать справедливость слов доктора – на собственной шее. Вот тогда и произошла моя вторая встреча с королем. Национальное собрание поручило доктору Луи, лейб – медику короля, высказать свое мнение о гильотине. В обсуждении должны были принять участие доктор Гийотен и, конечно, я – Исполнитель.

Стояла теплая весна 1792 года. Мы приехали в Версаль и прошли через сразу опустевший дворец – увидев нас, несколько слуг с жалкими, испуганными лицами тут же попрятались.

Лейб-медик принял нас в кабинете, за столом, покрытым зеленым бархатом. Когда мы обсуждали рисунок Шмидта, открылась дверь и вошел он – король! Он был в темном платье. Его приход меня не удивил – я знал, что король обожает слесарничать и сам выдумывает всякие механизмы. К тому же он продолжал считать себя главой нации, и перемена в системе исполнения наказаний не могла не интересовать его.

Король, нарочито не замечая нас, обратился к доктору Луи:

– Что вы думаете об этом?

– Мне кажется, что это весьма удобно…

– Но уместна ли тут полукруглая форма лезвия? Ведь шеи бывают разные: для одной круг будет чересчур велик, для другой – мал… – Он поправил рисунок (заменил полукруг косой линией) и, стараясь не глядеть на меня, спросил лейб-медика: – Кажется, это *тот* человек? Спросите его мнение о моем предложении. – Я думаю, замечание превосходно, – сказал я.

Действительно, испытания доказали верность замечания короля. И в этом король смог убедиться сам – во время нашей третьей, последней встречи…

20 марта Национальное собрание одобрило гильотину. Добрый Гийотен был вне себя от счастья – он избавил осужденных от страданий. Я не стал говорить этому славному человеку, что есть тайна, известная любому палачу: помимо мучений от самой казни, жертвы испытывают страдания, которые следует назвать посмертными, ибо наши ощущения продолжают существовать некоторое время и *после нашего конца.* И несчастные чувствуют нестерпимую боль после отсечения головы…

Собрав братьев в моем доме, я рассказал им об изобретении, менявшем в корне нашу жизнь. И Месье де Реймс, и Месье д \'Орлеан, и Месье де Дижон были согласны со мной – великое изобретение! Это был первый и последний разговор за семейным столом о нашем занятии.

Между тем Революция принялась за дело. 10 августа подстрекаемые городской Коммуной толпы ворвались в королевский дворец. Король и его семья бежали под защиту Национального собрания, но оно уступило яростным революционерам из Коммуны, и король был отрешен от власти.

Его отправили в тюрьму – в Тампль.

Парижем и страной начали фактически править люди из городской Коммуны. Их вождем был некий Марат. Я помню желчное лицо этого гражданина, его желтые буравящие безумные глаза. У него было воспаление вен, и все тело его гноилось – я думаю, от этого зуда он и пребывал в постоянном бешенстве. Он всюду видел заговоры, всюду искал (и находил!) врагов Революции. «Друг народа» – так звала этого полубезумца восторженная толпа.

«Друг гильотины» – так назвал бы его я.

Они распустили Национальное собрание, избрали послушный им Конвент. Напрасно Лафайет пытался повернуть свою армию, подавить мятеж в Париже – солдаты его не слушались. И Лафайет, вчерашний кумир Революции, бежал в Германию.

Австро-прусская армия вступила во Францию. В ответ – ярость и кровь! И террор! Так моя гильотина стала главным

действующим лицом – на нее теперь были обращены все надежды нации. Спасение в крови!

19 августа я приехал с осужденным фальшивомонетчиком на Гревскую площадь, но услышал крики: «Пошел на Дворцовую, Шарло!» Толпа по наущению Коммуны пожелала перенести гильотину под окна королевского дворца.

И они с ревом взялись задело! Как любят они разрушать! Какой энтузиазм! Какое вдохновение!

Я не успел и глазом моргнуть – уже весь эшафот был разобран! Люди перенесли тяжелые доски на неизвестно откуда взявшиеся подводы – и двинулись, счастливые, в путь, ко дворцу, на площадь, которая отныне стала именоваться площадью Революции. И конечно, они распевали революционные песни и плясали.

Теперь все будет происходить под песни. Каждая казнь будет заканчиваться счастливым песнопением народа. И плясками. Причем в толпе у гильотины я буду часто видеть одни и те же лица.

Тогда, в начале, я так любил и эти песни, и эти лица – одухотворенные и грозные, как сама Великая Революция. Да и как мне их было не любить! Ведь это были первые люди за всю мою жизнь, которые смотрели на меня, вечно презираемого палача, не только без отвращения и страха – но с восхищением! Среди них было много молодых женщин – неистовых и прекрасных в своем революционном гневе.

Мои казни стали напоминать гигантские театральные представления, где я, презренный когда-то Сансон, был главным и любимым актером. Именно в те дни появилась традиция – показывать площади, заполненной тысячами людей, отрубленные головы аристократов.

Какой это был революционный порыв! Правда, не все могли его выдержать…

«С любимой рай и на эшафоте», – сказал я себе тогда, во время казни несчастной подруги моей грешной юности. Дюбарри осудили вечером, а уже наутро я ждал ее в канцелярии. Сначала привели отца и двух сыновей из семейства Ванденивер – они были осуждены как «соучастники в ее преступлениях против народа». Вместе с ними я должен был казнить троицу фальшивомонетчиков.

Я закончил их предсмертный туалет – и привели ее. Я не видел ее двадцать лет, и сейчас, когда она шла за перегородку, где готовили к смерти осужденных, я не узнал прекрасные черты, искаженные безумным ужасом. Лицо, помятое после бессонной ночи, распухло от слез.

Я не успел спрятаться. Мгновение она смотрела на меня, видимо, силясь что-то вспомнить, потом отвернулась. Я с облегчением вздохнул – не узнала! И вдруг она бросилась передо мной на колени с криком:

– Я не хочу! Не хочу!

Потом поднялась и спросила лихорадочно:

– Где здесь судьи? Я еще не все сказала!

И я испугался – а вдруг узнала? Уже наступило страшное время, и достаточно ей было рассказать про нашу связь – я тотчас был бы объявлен пособником врагов Республики. И конец!

Пришли судьи. Я с тревогой вслушивался в ее сбивчивую речь… Но она сообщила лишь о каких-то жалких двух бриллиантах, которые ей удалось спрятать. Несчастная тянула время! И судьи сурово сказали ей, что она разоряла французскую казну, заставляя покойного короля тратить на нее народные деньги; упомянули о каком-то заговоре, который она возглавляла (тогда уже всех обвиняли в заговорах – это было самое употребительное слово); и заявили, что ей предоставлена народом *великая милость* — кровью искупить свои преступления. Этими судьями были граждане Денизо и Руайе. С ними пришли еще два депутата Конвента. Пришли поглазеть на когда-то всемогущую красавицу – как она будет умирать!

Кстати, с Денизо и Руайе я тоже встречусь на эшафоте. В той же канцелярии я приготовлю их к смерти, теми же ножницами отрежу волосы и повезу на той же телеге, что и мою маленькую Дюбарри…

Я велел помощникам начинать готовить ее. С искаженным, ставшим таким безобразным лицом, она боролась с ними. Трое держали ее, пока четвертый срезал роскошные волосы, готовя ее к объятьям гильотины. Потом я взял с собой несколько локонов и долго вспоминал запах ее волос, запах моей юности…

Наконец она впала в забытье и позволила связать себе руки. Только горько плакала, все время плакала… Я посадил ее на свою телегу, сел впереди и всю дорогу не оборачивался: боялся – узнает! И всю дорогу – горькие рыдания, каких я не слышал никогда в жизни. А я знаю в этом толк – много было рыданий в этой телеге!

Все улицы были заполнены народом, и наши славные патриоты кричали: «Да здравствует Республика! Смерть королевской шлюхе!» – и приветствовали меня, славного Шарло, который так ловко отправляет на небеса врагов Республики.

Мне было приказано казнить ее последней, чтобы она испытала весь ужас ожидания смерти. Но двадцать лет назад я сказал ей правду – теперь я ей пригодился! При виде гильотины

она упала в обморок, и я тотчас велел нести ее на эшафот – первой! Однако она немедленно пришла в себя, стала отбиваться, и все обращалась ко мне, все кричала:

– Минуточку, еще только одну минуточку, господин палач! Мы встретились глазами, и в этот миг, клянусь, она меня узнала!

И тогда я приказал помощникам – быстрее! Она продолжала сражаться с ними, пока они торопливо привязывали ее к доске. И все кричала, все молила меня:

– Минуточку, господин палач, еще одну минуточку!.. Я дернул за веревку – все было кончено!

Был обычай – показывать отрубленную голову народу. Но я не мог поднять эту голову, которую целовал когда – то… И вот юнец в красном колпаке выскочил на эшафот и потребовал показать ее голову!

Народ грозно гудел. Я предложил юнцу помочь мне – сделать *это* самому, если он, конечно, не боится крови. Он прокричал в толпу, что кровь врагов народа доставляет ему только радость! И народ аплодировал ему.

Я попросил его открыть кожаную крышку ящика, куда скатывались головы несчастных. Мне показалось, что он побледнел… Но наклонился, достал голову, подошел к краю эшафота и… рухнул вместе с ее головой! Она катилась по помосту, а он лежал без движения. Доктор потом сказал, что его сразил апоплексический удар.

Я так и не знаю до сих пор, что его убило – ужас или то, что происходило в те мгновенья в душе моей…

Я был хорошим патриотом, но что-то во мне изменилось. Да и не только во мне. Отошли от Революции многие благородные люди, но она уже выбрала себе новых кумиров. Теперь власть колебалась между двумя партиями, готовыми уничтожить друг друга…

Каждый день я наблюдал кровавое бешенство толпы. Люди сходили с ума от ненависти, они будто лакомились кровью, их жажда казней перешла всяческие границы. И я мог легко предсказать: победит та партия, которая лучше сумеет угодить этой всеобщей ненависти против прежних богачей.

С эшафота будущее видится достаточно ясно. Я увидел его еще до казни несчастной Дюбарри. Жирондисты (умеренная партия) должны были проиграть. Впрочем, такого легкомысленного слова, как «проиграть», Революция не принимает. Только одно слово признает она – «умереть».

Появилась новая профессия – *ненавистник.* Это были одни и те же люди. Утром я их видел в Конвенте, где они аплодировали кровожадным речам ораторов, а по вечерам они сами

произносили не менее кровожадные речи в клубах. Они же стояли в первых рядах около моей гильотины – с вечно раскрытыми ртами для проклятий и революционных песен. Именно тогда я обратил внимание, как изменились за это время их лица – особенно у женщин. От вечных гримас ненависти, от постоянных криков ярости у них стали лица фурий!

Помню, 10 августа (в годовщину штурма королевского дворца) я открыл окно, чтобы освежить воздух, и увидел молодого человека, сопровождаемого пляшущей и распевающей песни толпой. Он нес на палке… человеческую голову!

Теперь они устраивают самосуды повсюду. Вид толпы, вздернувшей на пики головы аристократов и орущей при этом «Да здравствует Республика!», давно уже никого не удивляет. Ненавистники правят толпами, ибо Революция – это буря, и в ней действует закон пены, непременно выплывающей наверх!

Вопрос о судьбе короля был лишь предлогом в борьбе за власть между партиями. Жирондисты решили уступить народной кровожадности – и голосовать за смерть короля.

11 декабря несчастный король предстал перед судом Конвента. Впрочем, судьба его была решена еще до суда.

Верно сказал его защитник:

– Я ищу среди вас судей, а вижу лишь одних обвинителей. И верно сказал обвинитель:

– Это процесс целой нации против одного человека.

Его убийство хотели сделать символом. «Казнь короля должна укрепить народную свободу и спокойствие… Призрак должен исчезнуть». Это были слова Робеспьера. И 18 января жирондист Верньо, которому выпало в тот день председательствовать в Конвенте, огласил приговор.

Скоро, скоро я повезу на гильотину и Верньо… Но пока пришла очередь короля.

Король попросил отсрочить казнь – они ему отказали, позволили лишь проститься с семейством и отправиться к эшафоту в карете со священником.

Казнь была назначена на 20 января. Вечером 19-го я получил приказ: за ночь поставить эшафот и ожидать осужденного к восьми утра.

Были приняты невиданные меры предосторожности – даже мне, вопреки обычаю, не разрешили сопровождать короля на казнь.

Накануне в почтовом ящике я нашел множество писем. В одних говорилось, что короля освободят по дороге из Тампля на площадь Революции, и меня грозились убить, если я окажу сопротивление заговорщикам. В других письмах меня умоляли

затянуть казнь, чтобы дать возможность решительным людям пробиться к эшафоту и увезти короля.

В то время уже работало множество шпионов, и письма граждан вскрывались. Так что я почел за лучшее отнести эти послания в Комитет Общественного Спасения.

Но один молодой человек пришел в мой дом и умолял принести ему одежду короля. Он надеялся в толпе поменяться с ним местами. Я назвал его безумцем и выгнал. Пришлось сообщить в Комитет и о нем. Надеюсь, я не навредил этому юноше – я ведь не знал его имени…

Печальное совпадение: 20 января – годовщина моей свадьбы, и в этот же день я должен был обручить короля с гильотиной. Моя бедная жена убрала все приготовленные яства, и всю ночь мы провели в молитве.

Все-таки *король!* Помазанник Божий!

Я хорошо помнил его презрение, его отвращение ко мне – тогда, в Версале. Он даже не глядел на меня! Теперь ему предстояло в последний час быть рядом со мной. Если бы кто-то шепнул ему об этом на ухо во время того нашего свидания!

На рассвете загремели барабаны – каждый округ должен был направить батальон национальной гвардии для охраны воздвигнутого ночью эшафота. Мой сын в составе одного из батальонов отправился на площадь. Товарищи смотрели на него с уважением. Еще бы – сын палача и сам будущий палач, которому предстоит убивать врагов Республики.

Пора было и мне на площадь. Но не так-то легко идти казнить короля.

Меня бил озноб, и я почему-то шептал: «Жертва принесена!»

В семь часов утра мы с братьями (палачами Руана, Орлеана и Дижона, приехавшими помочь мне в этот исторический день) сели в фиакр. Но улицы были до того запружены народом, что только около девяти мы добрались до площади Революции.

Когда-то эта площадь носила имя его отца – Людовика XV. Это было всего несколько лет назад, но теперь казалось – прошла целая вечность. Ибо с тех пор ушел целый мир.

Итак, мы приехали на площадь, заполненную народом – тысячами людей. Я и братья были вооружены – под плащами у каждого, кроме шпаг, было по кинжалу, по пистолету, и карманы набиты пулями.

Эшафот был окружен национальными гвардейцами и жандармами. Батальон марсельцев пришел с пушками и навел их на гильотину. Все были уверены, что короля попытаются освободить, но… никакой попытки не было.

С эшафота я увидел, как со стороны церкви показалась

карета, окруженная двойным строем кавалеристов. Карета подъехала. Король сидел сзади, рядом с ним священник.

Людовик вышел из кареты. Народ, теснившийся за кольцом войск, замолчал. Только грохот барабанов!

Он узнал меня и кивнул – так началась наша третья встреча.

Мой брат, руанский палач, подошел к королю и, обнажив голову, попросил «гражданина Капета» снять камзол и позволить связать себе руки. И тут началось – король возмутился и отказался. Брат сказал, что придется применить силу, и двое других моих братьев приблизились к королю.

– Вы осмелитесь поднять на меня руку? – спросил Людовик.

– Вы не в Версале, гражданин Капет. Вы у ступеней эшафота. Положение спас священник. Он сказал:

– Уступите, Ваше Величество, и вы пойдете по стопам Христа. Он вознаградит вас.

И тогда король молча протянул руки. Я осторожно связал их, не причинив ему боли. Но на этот раз мы поменялись местами – теперь я старался не глядеть ему в глаза…

Священник дал ему приложиться к Образу Спасителя.

И король поднялся ко мне – на эшафот.

– Пусть смолкнут барабаны! – Он повелительно поднял связанные руки.

К моему изумлению, барабанщики выполнили его приказ! Людовик обратился к толпе:

– Французы, вы видите – ваш король собрался умереть за вас. Пусть же моя кровь прольется для вашего счастья. Я умираю невинным…

Ему не дали договорить. Раздались команды, и вновь загремели барабаны. Король пытался еще что-то сказать, но не смог. В одно мгновение мы привязали его к доске. И лезвие гильотины полетело на его голову…

– Отойди в лоно Господа Бога, сын Святого Людовика, – только и прошептал священник.

Всю ночь я не спал – ходил по комнате.

С тех пор картина казни стоит передо мной даже во сне. Все двадцать лет я вижу ее… вижу, как удалялась телега с обезглавленным телом…

Тело короля было брошено в яму с негашеной известью на кладбище у церкви Мадлен. Я нашел священника и тайно отслужил заупокойную мессу.

После казни короля – началось! Люди сделались будто безумными. Теперь постоянное пролитие крови стало странной потребностью. Началась новая эра – эра крови, и разверзлась бездонная яма, в которой все они исчезнут. Все, погубившие его…

Со времени казни Людовика гильотина уже не снималась с площади Революции. И две красные балки – кровавые балки! – с висящим топором грозили городу.

Покойный король помогал умирать своим подданным. Я помню дворянина из Пуату, которому я рубил голову. Когда телега остановилась у эшафота, он спросил меня:

– Та ли это гильотина?

Я понял, о чем он спрашивает.

– Та самая. Переменили только лезвие.

И тогда он счастливо улыбнулся, радостно взошел на эшафот, встал на колени и поцеловал то место, где пролилась кровь короля.

Этот дворянин был эмигрантом, рискнувшим вернуться во Францию проведать свою любовницу. Он был и первой жертвой, которую я обезглавил по решению недавно созданного Революционного Трибунала.

Голод, наступление армий неприятеля и ужас перед грядущей расправой заставили друзей Республики сплотиться. Ораторы в Конвенте обещали народу: уничтожение врагов Равенства избавит от всех бед. Террор необходимо усилить!

Так был создан Революционный Трибунал.

Неистовый Шометт, Генеральный прокурор Парижской Коммуны, под пение и яростные вопли, сотрясавшие древние стены Ратуши, кричал в толпу:

– Мы принесем в жертву всех злодеев! И только тогда покой и благоденствие воцарятся в торжествующей Республике!

Я явился на первое заседание Трибунала. Зал был декорирован в суровом духе столь любимого нашей Революцией республиканского Рима. Судьи сидели в креслах, обитых кроваво-красным бархатом, на фоне бюста Брута, вдоль стен, разрисованных античными символами – пучками дикторских прутьев и красными фригийскими колпаками.

Конечно, я присутствовал при избрании Конвентом этих новых революционных судей, которые теперь «не были стеснены никакими формами при производстве дел» и могли «употреблять все возможные средства при изобличении преступников». Отныне «приговор мог оглашаться в отсутствие обвиняемого и обжалованию не подлежал», а «все преступления против общественной безопасности передавались в Трибунал».

В Трибунале заправлял общественный обвинитель Фукье-Тенвиль. Он был сух, бесстрастен и признавал только одно наказание – смерть.

Я понял: мне предстоит невиданная работа. И оказался прав. Огрызавшаяся террором Республика отправит на тот свет больше

людей, чем все мои предки-палачи, вместе взятые.

Я хорошо приготовился. Старая гильотина была снята, поставлена новая, куда я внес некоторые усовершенствования, чтобы можно было производить больше казней.

Удобное (в двух шагах от площади Революции) кладбище у церкви Магдалины, куда свозились жертвы гильотины (и где лежал обезглавленный король), было переполнено.

Уже думали о новом кладбище…

И именно в это время один из отцов террора – Марат – был убит ударом кинжала.

В последнее время Марат поднялся необыкновенно. На очередном революционном празднике я видел, как толпа внесла его в Конвент в венке триумфатора. Это был настоящий «друг гильотины». Когда он меня встречал, всегда здоровался с подчеркнутым почтением.

Толпа его обожала, ибо не было его кровожаднее. Он истово ненавидел умеренность, восхвалял массовые казни и провозглашал: «Смерть каждого аристократа приближает наше радостное будущее!» Его имя повторялось народом при всех убийствах и насилиях, затмив имена Дантона и Робеспьера…

В те дни Марат был болен. Омерзительные струпья на его теле воспалились, и он несколько дней отсутствовал в Конвенте. Стараясь унять нестерпимый зуд, он сидел в теплой ванне.

Я был у него – ванна была покрыта грязным сукном, поперек лежала доска, на которой он писал. В ванне он и принимал посетителей.

Шарлотта Корде, девушка из провинции, сообщила ему, что хочет раскрыть заговор врагов Республики. И он ее принял. Подойдя к ванне, она вонзила нож в грудь Марату.

«17 июня Первого года единой и нераздельной Республики» я получил приговор о казни Шарлотты Корде и, кликнув помощника, отправился в комнату осужденной. Я увидел молодую красавицу. Она сидела за столом и что-то писала. Ее восхитительные светло-каштановые волосы были распущены, она с усмешкой тряхнула ими:

– Я приготовила их для вас, господа!

Мы молча ждали, пока она закончит писать.

Это было ее предсмертное письмо. Она была питомицей Марии Корнель, сестры автора бессмертного «Сида». И, клянусь, великий Корнель был бы горд предсмертным творением своей родственницы. (Я передал письмо секретарю Трибунала, но перед этим, разумеется, прочел его.)

Шарлотта писала, с каким энтузиазмом разделяла она «великие принципы Революции», как «ненавидела ее крайности». Писала о

том, что имя Марата, «который по трупам поверженных жирондистов шел к власти, позорило род человеческий», о том, что он «непременно разжег бы гражданскую войну своими крайностями», а теперь «в любимой ею Республике будет царствовать мир». Она «с радостью отправлялась на небо, надеясь встретить там Брута и других мучеников, пожертвовавших жизнью во имя Свободы»…

Я велел помощнику отрезать ее роскошные волосы, затем подал ей красную рубашку, в которую перед казнью обряжали отцеубийц. Она ее надела.

Нужно было связать ей руки, и я увидел на них кровавые ссадины – следы ударов. Когда ее схватили у ванны Марата, ее били… Она со смехом предложила надеть перчатки.

Обошлись без перчаток. Я умею связывать женские руки и, клянусь, не причинил ей боли.

Наконец мы уселись в позорную телегу. Я приготовил для нее кресло. Она отказалась.

– Вы непредусмотрительны, в телеге трясет.

– Это ведь не очень надолго… – Она улыбнулась и осталась стоять, держась за край телеги. Я поставил перед ней стул, чтобы она могла опираться на него коленом.

Шел дождь, но улицы были заполнены толпой. Оскорбления и грозные выкрики сопровождали ее всю дорогу. Но, осыпаемая проклятьями, она гордо стояла в телеге.

– Народ любил Марата, – сказал я.

– Народ часто любит чудовищ. Но я надеюсь, что эта нынешняя любовь будет недолгой.

Мы были уже на улице Сент-Оноре, совсем недалеко от площади Революции. Здесь в одном из домов жил Робеспьер. Каково же было мое удивление, когда я увидел в раскрытом окне его квартиры трех депутатов Конвента, трех сподвижников – Камилла Демулена, Дантона и самого Робеспьера. Они глазели на приговоренную.

Скоро, скоро повезет и их моя добрая тележка…

А пока они о чем-то говорили и смеялись. И смотрели сверху на Шарлотту. Я и сам смотрел на нее во все глаза – так поразительна была ее красота. Но еще поразительней был ее гордый и невозмутимый вид. Она хранила его все время, пока мы ехали среди рева, проклятий и оскорблений.

Когда мы оказались на площади Революции, я попытался заслонить от нее гильотину. Она засмеялась:

– Нет-нет, я давно хотела ее увидеть. В нашем маленьком городке много о ней говорили, но я никогда ее не видела…

Она бросилась на доску с каким-то исступлением – как в

постель к возлюбленному. Я дернул за веревку, и гильотина сделала свое дело.

Потом один из моих помощников поднял ее прекрасную голову и показал ее народу. И… ударил голову по щеке. И щека покраснела.

И толпа – вечно кровожадная толпа – зароптала.

16 сентября – день самый примечательный. До этого дня я казнил только врагов Республики. И вот 16 сентября на эшафот взошел известный революционер, журналист Горза. Он был первым членом Конвента, которого я познакомил с гильотиной. Его преступление состояло в том, что он принадлежал к партии Жиронды. Он был истинным республиканцем, голосовал за смерть короля… Но теперь они уже начали пожирать друг друга. Кстати, этот Горза когда-то голосовал против уравнения палачей в правах с другими гражданами. Он почему-то невзлюбил меня и однажды даже пытался обвинить в симпатиях к королевской власти. Увидев меня у эшафота, он крикнул: – Радуйся, Сансон, насладись своим триумфом! Мы хотели ниспровергнуть монархию, а основали новое царство – твое!

Каждый раз, являясь в Консьержери, я проходил мимо заржавленной двери камеры, в которой сидела одна из прекраснейших женщин Европы – королева французов.

После казни короля о его семье, казалось, забыли. Однако Революцию можно упрекнуть в рассеянности, но в беспамятстве – никогда!

Все сильнее становились самые жестокие. Жестокость и непреклонность стали залогом победы в борьбе за власть, а кровь – постоянной ценой поражения.

В этом соревновании в свирепости революционных партий королева была обречена. В июле у нее отняли сына. 2 августа ей огласили декрет о предании ее суду.

Жандарм, присутствовавший при этом, рассказывал мне: она выслушала декрет, связала в узелок вещи, поручила дочерей принцессе Елизавете и отправилась за чиновником. Она еще не научилась наклонять голову и, входя в камеру Консьержери, расшибла в кровь лоб о низкую притолоку.

Я видел ее в этой камере – она была перегорожена надвое. В одной ее части постоянно находились жандармы, в другой, за ширмами, жила теперь королева французов. Я не любил королеву, но я не мог не пожалеть прекрасную женщину.

11 октября я узнал, что Комитет Общественного Спасения начал допросы «вдовы Капет Марии Антуанетты, именовавшей себя Лотарингско – Австрийской», обвиняемой в заговоре против Франции.

Конечно, я присутствовал на суде. Королеве было тридцать семь лет, но тюрьма и страдания превратили красавицу в старуху. Поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу, складки вокруг губ… Но и в черном платье вдовы (бывшая повелительница Франции, дочь императора и жена короля штопала его всю ночь) она была по – прежнему горда и надменна. Она осталась королевой. Ее обвиняли во всем: начиная с того, что она немилосердно транжирила деньги, принадлежащие народу Франции, и устроила голод в стране, и, кончая чудовищным – будто она склоняла к прелюбодеянию собственного сына.

Общественный обвинитель Фукье – Тенвиль монотонно и бесстрастно потребовал приговорить ее к смертной казни. И ее приговорили – под овацию зала.

Заседания шли с девяти утра до десяти вечера. Королеву мучили голод и жажда. Но я помню, как жандарм, подавший ей стакан воды, должен был испуганно оправдываться! Таково было настроение толпы. Под ее радостные крики королева покинула зал, приговоренная к встрече со мной.

А я, потомок презренных палачей, пошел готовиться принять вторую королевскую голову. Еордую голову красавицы королевы.

Впоследствии секретарь Трибунала рассказывал мне, как, придя после приговора в камеру, она бросилась, обессиленная, на кровать и час спала мертвым сном, а проснувшись, попросила письменные принадлежности и написала письмо принцессе Елизавете. Оно было передано Фукье – Тенвилю, и, кажется, он переслал его в Комитет Общественного Спасения. Одно знаю точно: бедная Елизавета никогда его не прочла…

Фукье как раз читал это письмо вслух судье Дюма, когда я пришел за приказом. Оно меня поразило, и я, выйдя, записал для потомства несколько строчек, которые мне удалось запомнить:

«Меня только что приговорили к тому, чтобы я соединилась с Вашим братом. Я надеюсь умереть с таким же присутствием духа, как и он… Ужасно, что Вы пожертвовали всем, чтобы остаться с нами, а я оставляю Вас в таком страшном положении… Я прошу моего сына никогда не забывать последних слов своего отца, которые я столько раз ему повторяла. Вот эти слова: „Пусть сын мой никогда не будет стараться отомстить за мою смерть“. Напоминайте их ему чаще, дорогая… Боже мой, как тяжело расставаться с Вами навсегда! Прощайте, прощайте, прощайте!»

В приказе, который я получил, было сказано, что казнь состоится завтра утром. Я спросил Фукье – Тенвиля:

– Когда выдадут закрытый экипаж?

Он подумал, не ответил и вышел из комнаты. Я понял – отправился совещаться с Робеспьером. Он умел служить

начальству… Вернувшись, Фукье объявил:

– Преступница королева ничем не должна отличаться от преступницы обычной, и ее следует везти в обычной позорной телеге.

Вот так!

Все повторилось, как при казни ее несчастного мужа. Целую ночь моя бедная богобоязненная жена молилась. И я не спал и молился. Второй раз проливать царственную кровь!

И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного Борзы: «Мы основали новое царство – твое»…

Я – их новый король? Смешно, граждане!

В пять утра уже гремели барабаны, призывающие к оружию национальных гвардейцев. Я отправился на площадь Революции – проверил страшный аппарат.

В десять утра я и мой сын (он теперь часто помогал мне на эшафоте) пришли в Консьержери. Тюрьма была окружена вооруженной охраной. Секретарь Революционного Трибунала Напье, который должен был присутствовать при казни, давясь от смеха, рассказал мне, как королева всю ночь подшивала и гладила белое платье – «готовилась к свиданию с матушкой гильотиной».

Королеве, этой законодательнице мод, Робеспьер позволил иметь в тюрьме только два платья – черное и белое. Черное износилось совершенно, но она сохранила белое. Видно, уже думала, что оно понадобится ей для ее последнего выхода…

Камера, где Робеспьер проведет свою последнюю ночь перед гильотиной, будет совсем рядом с камерой королевы.

Я нашел королеву в комнатке, куда перед казнью приводили смертников. Она была в белом платье, и плечи ее были прикрыты белой косынкой. На голове, помню, был чепчик с черными лентами.

В полумраке комнаты она вновь была прекрасна.

Увидев меня и моего сына, она все поняла, встала и сказала:

– Все в порядке, господа, мы можем ехать.

– Нужны некоторые предварительные меры… – сказал я.

Она молча повернула голову, и я увидел: волосы у нее уже были обрезаны. О предусмотрительная королева!

Все так же молча она протянула мне руки. Я ловко и совсем небольно связал их. Вот так человек из презренного рода Сансонов прикоснулся к руке королевы…

Выйдя во двор, она увидела мою телегу и побледнела. Она ожидала увидеть карету. Что ж, в первый и последний раз королеве придется ехать в телеге. В этом революционном

экипаже!

Любопытно: в сентябре я казнил того самого Казота, о пророчестве которого так много говорили лет двадцать назад. По пути у нас состоялся разговор, точнее, мы обменялись несколькими фразами, когда уже въезжали на площадь (все остальное время, пока мы ехали, он не отрывал головы от молитвенника). Но, увидев на площади гильотину, он усмехнулся и сказал:

– Сбылось! Значит, ты и вправду повезешь ее в позорной телеге. Печально!

И пошел на эшафот…

…Я подал ей табурет, чтобы она могла взойти в телегу.

Раскрылись ворота, и телега вывезла королеву Франции к народу Франции – тысячам вопящих проклятия людей.

Ругательства и угрозы сопровождали нас в этом долгом пути. Долгом потому, что лошади едва двигались в людском море.

Всю дорогу она простояла в телеге, спокойно и величаво снося выкрики толпы: «Смерть австрийскому отродью! Смерть коронованной б…!»

Жандармы давали возможность людям из толпы прорываться к телеге, и тогда лошади становились на дыбы, а ненавистники тыкали кулаками в лицо своей вчерашней повелительнице.

Перекрикивая неистовые вопли народа, я сделал резкое замечание охране. Но несмотря на мой тогдашний авторитет, они меня не послушали. Видно, у них было другое распоряжение.

Что ж, королева испила свою чашу до дна – с достоинством, не бледнея.

Мы ехали по улице Сент-Оноре… И я заметил: по мере приближения к площади, она стала напряженно всматриваться в верхние окна домов. Я забеспокоился – не задумала ли она чего? И стал следить за ее взглядом.

Вскоре в одном из окон я увидел аббата – он жестом отпустил ей грехи. Тогда она облегченно вздохнула и даже чуть улыбнулась. Видимо, через кого-то она сумела условиться со священником, и он проводил ее в последний путь.

Более она не поднимала головы. А зря! В окне дома Робеспьера я увидел уже знакомую картину: они опять стояли втроем – Дантон, Камилл Демулен и Робеспьер. И опять оживленно переговаривались…

На площади Революции телега остановилась прямо против главной аллеи Тюильри – и она вздохнула, видно, что-то вспомнила. Я и мой сын поддержали ее, когда она сходила с телеги. Легкой походкой, быстро и величаво, взошла королева на эшафот…

Потом сын рассказал мне: когда он привязывал ее к страшной доске, то услышал ее последние слова: «Прощайте, дети, я иду к Отцу…»

Доску с привязанной королевой положили на место, я дернул за веревку – и загремела гильотина!

Кто-то из помощников торжествующе поднял голову королевы и под восторженные вопли народа пошел с ней вдоль эшафота. Люди готовили платки, чтобы омочить их в царственной крови. Так было и при казни короля – тогда произошла такая давка!

И вдруг (я думаю, от посмертного сокращения мышц) глаза королевы открылись. Голова взглянула на толпу!

И толпа замерла в ужасе. Впервые с тех пор, как поставили гильотину, толпа безмолвствовала…

Тело вдовы Капет, залитое негашеной известью, отправили также на кладбище Мадлен.

Вещи ее мы отдали в богадельню.

Кстати, секретарь Трибунала Напье сделал мне замечание – будто я не сам привел в движение топор, а поручил это сделать помощнику. Это было не так, но я не стал оправдываться, а лишь сурово сказал:

– Я распоряжаюсь на эшафоте. И все, что там происходит, – мое дело! И он замолчал.

Пусть отвыкают приказывать! Палач (спасибо нашей Революции!) теперь уважаемая и самостоятельная фигура. Что бы они делали без палача!

Когда Напье уходил, я позволил себе пошутить:

– Если, не дай Бог, нам придется встретиться на эшафоте, гражданин Напье, поверьте, я непременно учту ваше замечание.
Он побледнел.

А ведь пришлось – и я дернул за веревку над его головой…

После казни королевы последовало множество казней роялистов. Но в то же время революционные партии не забывали и друг про друга.

Два десятка жирондистов, знаменитых революционеров, чьи имена сияли в истории нашей Республики, были арестованы и приговорены к смерти. Тогда Камилл Демулен, Дантон и Робеспьер объединились с «бешеными» революционерами из Парижской Коммуны – Шометтом, Эбером и прочими наследниками Марата. Они считали, что жирондисты слишком умеренны и мешают Революции двигаться вперед.
Жирондисты должны были стать жертвами во имя высших целей Республики. Я не совсем понимал теоретические выкладки, но уже знал твердо: все эти красивые слова скрывают лишь одно –

борьбу за власть.

Процесс жирондистов, понятно, шел медленно – все они были знаменитыми ораторами, а обвинения против них были самые вздорные.

Фукье-Тенвиль (человек услужливый, но весьма средних способностей) буквально изнемог в борьбе с ними…

Проблему решили просто – Трибунал обратился в Конвент с предложением: в связи с тем, что «общественное мнение Франции уже осудило этих изменников делу Революции… а между тем Трибунал ничего не может сделать с ними и тратит время на формальности, предписанные законом… Конвент должен освободить Трибунал от соблюдения этих пустых судебных формальностей, присущих старому строю».

И уже вскоре легендарные деятели Революции – Бриссо, Верньо и еще два десятка знаменитых республиканцев – за два десятка минут были отправлены на гильотину их вчерашними сотоварищами.

Я пришел в Консьержери и застал всю компанию осужденных в комнате смертников. Стоя группами, они оживленно беседовали – как беседуют друзья перед разлукой, перед дальней дорогой…

Они без сопротивления (но с ироническими шутками) дали нам совершить их предсмертный туалет – я остриг их, мой помощник связал им руки.

А они шутили…

Ирония действительно была: на пяти телегах я вез их сквозь густую толпу, проклинавшую их, горланившую революционные песни и кричавшую: «Да здравствует Республика!» И они – в телегах – пели те же революционные песни и кричали: «Да здравствует Республика!»

Один из моих помощников, Жако, надел костюм паяца и выделывал разные непристойные выходки против осужденных – на потеху толпе. Человек он был гнусный, и выходки его были недостойные, но судьба действительно смеялась над несчастными. И дьявол, видать, веселился, как этот паяц.

Когда мы проезжали по улице Сент-Оноре, в окне знакомого дома я увидел знакомую троицу: Дантона, Робеспьера и Демулена. На этот раз они молчали, странно-одинаково скрестив руки на груди.

Многотысячная толпа на площади Революции пела «Марсельезу», пока эти революционеры, также с пением «Марсельезы», по очереди поднимались на эшафот и складывали свои головы в кожаный ящик.

Я распоряжался ходом казни – хлопот было много. Один из помощников держал веревку блока и по моему знаку опускал

лезвие гильотины. Доска была залита кровью (все-таки два десятка человек!), и ложиться на нее было отвратительно.

Я приказал помощникам взять по ведру воды и отмывать ее после каждой жертвы… Мне понадобилось сорок минут, чтобы Республика лишилась своих основателей. Трупы укладывались в ящики попарно.

Помню, Верньо был предпоследним. И этот Верньо, еще недавно председательствовавший в Национальном собрании, насмешливо сказал секретарю Трибунала Напье, вызывавшему осужденных на эшафот:

– Революция, как Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!

На другой день после казни жирондистов Фукье-Тенвиль грубо спросил меня, почему я избегаю сам дергать за веревку, приводящую в движение лезвие гильотины. (Напье, конечно, донес!)

Я ответил (так же резко), что времена, когда рубили мечом, прошли и теперь самое важное для палача – распоряжаться порядком на эшафоте. При таком обилии жертв это нелегко, поэтому я прошу оставить за мною право все самому решать на *моем* эшафоте!

Террор становится нашим бытом. Теперь что ни день – новая знаменитая жертва.

Вчера я казнил герцога Луи Филиппа Жозефа Орлеанского. Принц крови, всем сердцем принявший Революцию, именовался «Гражданин Эгалите». [1] (Это прозвище, данное ему благодарным народом, и стало его именем. И дворец его называли теперь «Пале – Эгалите».)

Еще недавно он подал голос за смерть короля, еще недавно он сражался вместе с Робеспьером против жирондистов! Но сейчас он уже компрометировал бывших союзников, и они поспешили от него избавиться, обвинив его… в сотрудничестве с его главными врагами – жирондистами!

Герцог даже воскликнул после речи Фукье – Тенвиля:

– Все это, право, похоже на шутку!

Но шутка закончилась смертным приговором. Герцог все понял и попросил не затягивать казнь. Его просьбу исполнили – уже днем я пришел с моими ножницами стричь еще одну царственную голову.

Герцог с аппетитом уплетал устрицы и цыпленка – он сохранил присутствие духа.

Вместе с ним осудили еще нескольких особ из бывших аристократов (принадлежность к дворянству теперь почти автоматически равняется смертному приговору). Один из них был

граф Ларок. Когда я направился к нему с ножницами, он расхохотался и снял парик с абсолютно лысой головы…

Около четырех часов дня наш поезд из нескольких телег выехал из ворот Консьержери. Герцог, естественно, был в моей телеге. Начальник конвоя по приказу Робеспьера велел остановить телегу у дворца герцога. Там уже поспешили повесить вывеску: «Народная собственность»… Герцог с презрением отвернулся.

Он взошел на эшафот последним – и толпа, еще три года назад носившая его бюст, увенчанный лавровым венком, свистела и неистово проклинала его (впрочем, как и сотоварищи по телеге во время пути на гильотину – все они были верными роялистами).

Мой помощник снял с него фрак. Герцог насмешливо посмотрел на свистящую толпу и спокойно лег на залитую кровью доску.

Когда я показал людям его голову, они стали неистово рукоплескать и петь! (Пройдет несколько десятков лет, и их сыновья возложат корону на голову сына Гражданина Эгалите. – *Э.Р.)*

Не забываем и дам. Вчера вместе с несколькими роялистами (теперь обычно казним целыми партиями) гильотинировали знаменитую госпожу Ролан – хозяйку салона, где собирались жирондисты. Выслушав смертный приговор, она сказала с улыбкой: – Благодарю судей за то, что они сочли меня достойной разделить участь замученных ими великих людей…

Статуя Свободы, воздвигнутая на площади Революции, стояла как раз напротив моего эшафота. Поднимаясь по лестнице, госпожа Ролан склонила голову перед статуей и воскликнула:

– Свобода, они забрызгали тебя кровью!

Это звучало бы слишком патетично, если бы не было правдой: я действительно видел на статуе брызги крови…

Смерть госпожа Ролан приняла бесстрашно. Под счастливые аплодисменты толпы я поднял ее голову за остатки роскошных волос.

На следующий день я отправился на площадь Революции с двумя телегами. Но на этот раз (редчайший случай!) со мной не было знаменитостей, которым следовало оказывать честь – предоставлять отдельную телегу. Так что всех девятерых осужденных я отлично разместил в этих двух телегах. Среди них были мать с сыном. И мать всю дорогу доказывала мне, что Республика должна удовлетвориться одной ее головой.

– Ведь они его непременно помилуют, не правда ли? – все спрашивала она меня и обнимала сына.

Ему было двадцать три года…

Казнен известный депутат Конвента жирондист Ноэль. Ступив на эшафот, он поинтересовался:

– Хорошо ли вытерли нож гильотины после казни Дюбарри? Негоже мешать кровь продажной королевской девки с кровью честного республиканца!

Я заверил его, что нож чистый.

Сегодня казнены пятеро публичных женщин, и множество других «веселых особ» ждут своего часа в Консьержери. Таково новое предписание Генерального прокурора Парижской Коммуны Шометта. Теперь считается, что, портя нравы, они помогают врагам Республики. Решено очистить наши нравы при помощи гильотины.

Недавно в Конвенте я встретил одного депутата-журналиста (кажется, его звали Дюфруа). Увидев меня, он обратился к друзьям, шедшим рядом с ним:

– Вот самый полезный деятель Республики! Как он бреет аристократов своим славным ножом! Тебе приходится много трудиться, друг Сансон! Но ничего: если у тебя много работы – дела Республики идут на лад!

Всего через два месяца после этой встречи мне пришлось потрудиться и над его головой.

Все чаще казним генералов. В Конвенте не хотят понять, что и революционные солдаты могут терпеть поражения, поэтому наши неудачи решили объяснять изменой военачальников.

Сегодня я казнил одного из самых храбрых наших генералов – Бирона. Когда я пришел в Консьержери, я застал его кушающим устрицы.

– Позволишь ли доесть эту последнюю дюжину? – спросил он меня.

– Не торопитесь, генерал.

Я подождал, пока он доел, и тогда сказал:

– К вашим услугам, генерал. И вынул ножницы.

– О нет, братец, к сожалению, сегодня – я к твоим услугам! – ответил он. И расхохотался.

Забавно: в прежние времена одно мое появление в тюрьме вызывало ужас. Теперь оно все чаще вызывает улыбку, даже шутки! Смерть стала слишком *обычной*… Никогда на моей памяти равнодушие к жизни не доходило до такого: осужденные едят, пьют, сочиняют куплеты – и все это накануне смерти!

Сразу после Бирона я казнил некоего Луи Робена, который приклеил к стене церкви следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного „тираном“ нашими революционерами. Наступающее десятилетие породит сотни будущих тиранов.

Долой революционные клубы! Истинный народ никогда не откажется от веры в Бога!»

В телеге, где ехали восемь осужденных, он мне сказал:

– Бог, позволивший тебе казнить короля, возложил на тебя обязанность казнить и всех похитителей его власти. И только потом Он покарает и тебя самого…

Я это запомнил.

Казни каждый день. Много казней.

Сегодня я обезглавил графа де Лэгль, а вместе с ним Агнессу Розалию Ларошфуко и еще двенадцать знатнейших «бывших», обвиненных в заговоре…

На следующем заседании Трибунала было вынесено восемнадцать приговоров. Я вез осужденных под проливным дождем, набив их в четыре телеги. Больше телег не дали. Толпа, которую величают народом, осталась довольна количеством жертв – не зря она мокла под проливным дождем!

Были арестованы «бешеные» – неистовые революционеры из городской Коммуны. За то, что они непримиримые и оттого хотели увести Революцию с ее истинного пути, который известен одному Робеспьеру.

Понадобилось множество телег, когда большая компания «бешеных» отправилась на гильотину.

Фукье-Тенвиль, не моргнув глазом, обвинил своих бывших сподвижников и друзей – прокурора Шометта, его заместителя Эбера и прочих революционеров – в измене и заговоре.

Во время заседания Трибунала один из самых яростных, помешанный на крови Анахарсис Клоотц сказал:

– Будет очень странно, если меня, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне и колесовали бы в Вене – гильотинируют в республиканском Париже!

Но все случилось именно так. При сем его вчерашний почитатель Фукье-Тенвиль обвинил Клоотца, этого ненавистника короля, в тайных стремлениях… к восстановлению королевской власти!

Вместе с Клоотцем сел в мою телегу и другой «бешеный» – Эбер, помощник и друг прокурора Шометта. Еще недавно на процессе королевы он произнес наглое лжесвидетельство – это он придумал обвинить бедную королеву в разврате с ее собственным сыном.

По дороге на гильотину толпа, еще вчера им рукоплескавшая, щедро осыпала их проклятьями.

Эбер на гильотине (как и положено трусливым злодеям) совсем ослабел, был малодушен и все молил: «Подождите, граждане!»

И тогда Клоотц с криком: «Да здравствует Всемирная Республика! Да здравствует братство народов!» – бросился на кровавую доску. Он показался мне искренним безумцем, которого следовало отдать врачам, а не гильотине.

Эбера (он был без чувств от страха) мы привязали к доске, и старушка гильотина сделала свое дело.

И толпа, радостно наблюдавшая казнь неистовых республиканцев, неистово кричала:

– Да здравствует Республика!

Но самое невероятное произошло 11 жерминаля. Утром Дантон, Камилл Демулен и их товарищи были арестованы на своих квартирах – и народ безмолвствовал!

Говорят, Дантон, отважившийся бороться с Робеспьером, был уверен: его не посмеют тронуть!

Робеспьер посмел.

Он верит в себя. Марат стал святым после смерти – Робеспьер сумел сделать себя святым при жизни. Жена моего помощника Деморе повесила его портрет вместо иконы в изголовье своей постели. И таких немало. Полоумная старуха, некая Екатерина Тео, назвала себя «Богородицей», а Робеспьера – своим сыном!

Впрочем, еще совсем недавно республиканцы так же молились на Дантона…

Дантон сдался жандармам без сопротивления, Демулен же звал из окон народ на помощь. Но никто не пришел. Люди уже привыкли проклинать тех, кого вчера славили. И отвыкли удивляться.

Они не удивляются, что все вчерашние кумиры Республики – Бриссо, Мирабо, Лафайет, Верньо – объявлены предателями интересов народа. Все эти люди, оказывается, сделали Революцию только для того, чтобы ее погубить! Но и те, кто изобличил их в предательстве, – Шометт, Дантон и прочие – тоже оказались предателями! Предают справа и слева! Предают умеренные и непримиримые!

Теперь остался один Робеспьер. Один – из всей троицы, которую я привык видеть у окна на улице Сент – Оноре.

Я читал сегодня письмо, которое несчастный Демулен отправил жене (и которое, естественно, ей не передали): «Я залился слезами, я стал громко рыдать в глубине темницы… Пусть так жестоко поступали бы со мной враги… но мои товарищи… но Робеспьер… и, наконец, сама Республика, после всего, что я для нее сделал!.. Руки мои обнимают тебя, и голова моя, отделенная от туловища, покоится на твоей груди… я умираю».

Я присутствовал на заседании Революционного Трибунала.

Фукье – Тен – виль в длинной и монотонной (как обычно) речи потребовал их смерти. И Трибунал, конечно, их приговорил – и Демулена, и Дантона, и их сторонников. Дантон сказал, усмехаясь: – Я основал этот Революционный Трибунал и прошу за это прощения у Бога и людей.

Когда я пришел в Консьержери, жандарм хлопнул меня по плечу и сказал:

– Сегодня у тебя крупная пожива – много осужденных! Начальник караула пояснил мне:

– Очень вероятно, что по пути на гильотину осужденным удастся возмутить народ. Тогда тебе следует пустить лошадей рысью. Жандармам уже дан приказ – стрелять в случае беспорядков. На площади все должно быть исполнено тобой как можно быстрее. Надо спасти Республику от этих злодеев!

Начали поодиночке приводить «злодеев» (вчерашних кумиров Республики), читать им приговор. После чего я готовил их к смерти.

Когда привели Дантона, он не захотел слушать тюремщиков. Он прорычал:

– Знать не хочу вашего приговора! Нас рассудят потомки – и они поместят нас в Пантеон!

И равнодушно обратился ко мне:

– Делай свое дело, Сансон!

Я сам подстриг его перед смертью. Никогда не забыть мне его волосы – жесткие и курчавые, как щетина диковинного зверя… При мне он сказал своим друзьям:

– Это начало конца… Будут казнить народных представителей – кучами. Франция задохнется в потоках крови…

Будто раньше не казнили! И кучами! И с его благословения! Помолчав, он добавил:

– Мы сделали свое дело – можно идти спать.

Когда привели Демулена, он сначала плакал и говорил о жене, потом бросился на моих помощников и стал их бить (в эти предсмертные минуты человек обычно становится необыкновенно силен). Четверо держали его, пока я резал волосы. А он все сражался с ними! И тогда Дантон повелительно сказал ему:

– Оставь этих людей. Они – лишь служители и исполняют свой долг. Исполни свой долг и ты.

Наконец все было готово. Рассаживались по телегам. Конвой был столь же многочисленный, как и у королевы. Я сел на облучок своей телеги. За мной в первом ряду стояли Дантон и Демулен – так что я слышал их разговоры.

Когда двинулись в путь, Дантон сказал Камиллу:

– Это дурачье сейчас будет кричать: «Да здравствует

Республика!» А сегодня у этой Республики уже не будет головы!

Когда мы выехали на бульвар, Демулен стал кричать народу:

– Разве вы не узнаете меня?! – Он старался высунуться из повозки. – Перед моим голосом пала Бастилия! С вами говорю я – первый проповедник Свободы! Ее статуя сейчас обагрится кровью! Ко мне, мой народ! Не допусти, чтобы умертвили твоих защитников!

Ему отвечали хохотом и ругательствами. Он пришел в ожесточение, и я боялся, что он выбросится из телеги. Дантон сказал ему:

– Замолчи! Неужели ты надеешься растрогать эту покорную сволочь?!

Проезжая мимо кофейной, мы увидели живописца Давида – он рисовал всю нашу процессию.

– И ты здесь, лакей! – прорычал Дантон. – Пойди и покажи свой рисунок своему господину! Пусть он увидит, как умирают воины Свободы!

Мы проезжали мимо дома Робеспьера. Окно, где они так часто стояли вместе, было закрыто. И даже ставни были закрыты. И тогда раздался громовой голос Дантона:

– Робеспьер, ты напрасно прячешься там, за ставнями! Знай: скоро и ты пойдешь за мной! Скоро, очень скоро придет твой черед! И тень Дантона тогда возрадуется!

Все это он сопровождал отборной руганью.

На эшафоте они держались молодцами. Демулен попросил меня передать его локон матери его жены. Потом он взглянул на небо, произнес несколько раз имя жены – и нож опустился!

Его еще не успели очистить от крови предыдущей жертвы, когда Дантон поднялся на эшафот. Я попросил его отвернуться, пока помощники смывают кровь, но он сказал с презрением:

– Велика важность – кровь на твоей машинке… Не забудь показать мою голову народу! Такие головы увидишь не каждый день!

На обратном пути я думал: «Как забавно! Скольких людей перевезла моя тележка! В ней уместилась, пожалуй, вся, без исключения, история Революции. Остался лишь – *он.* Один!» Робеспьер.

Кресло для обвиняемого давно вынесено из Трибунала. Вместо него установлен огромный помост, где обвиняемых размещают партиями по нескольку десятков человек. Как правило, им ставят в вину участие в заговорах. Фукье-Тенвиль научился «объединять» в этих делах людей, зачастую видящих друг друга в первый раз на заседании Трибунала.

Полуграмотные присяжные, освобожденные решением

Конвента от всяких норм судопроизводства, теперь в одно мгновение определяли виновность людей. Им было приказано руководствоваться только патриотическим чувством.

Бесконечная череда обвиняемых… Обвинитель, присяжные, судьи, измученные постоянным недосыпанием, работают не покладая рук, подстегиваемые яростью ненавистников, толпящихся на галереях, в этой ужасной летней духоте, сводящей с ума! Они взбадривают себя алкоголем и патриотическими речами, стараясь превозмочь кровавую дремоту!

Я помню раннее утро… Заседание Трибунала… По обвинению в заговоре вместе с целой группой несчастных осудили бедную Люсиль Демулен. И уже в пять часов пополудни я окончил ее страдания на эшафоте…

В тюрьме ее считали помешанной, ибо ее преследовала одна мысль: побыстрей соединиться *там* с Камиллом. После них осталась крохотная дочь.

Приговоры идут потоком – 29 жерминаля мы казнили семнадцать человек. 1 флореаля Трибунал осудил во имя Революции тех, кто раньше судил во имя Революции. И я повез на гильотину тех самых судей, чьи декреты исполнял столь долгое время. Двадцать пять членов парижского и провинциальных судов пошли на плаху с президентами во главе!

Утром 19 флореаля мы казнили двадцать восемь человек. Один из них, некто Лавуазье, ученый, попросил отсрочку от казни, чтобы довершить, как он сказал, «открытие, важное для нации». Секретарь Трибунала ответил ему: «Народ не нуждается в твоей науке, и ему нет никакого дела до твоих открытий». Он был прав – толпа восторженно кричала, когда я показал ей голову ученого.

21 флореаля я присутствовал на заседании, где была осуждена Елизавета – набожная сестра последнего короля. Она выслушала приговор с ласковой улыбкой на устах, обратив глаза к небу, а Фукье-Тенвиль честил ее в самых бранных выражениях! Трибунал под председательством судьи Дюма, конечно, приговорил ее к смерти, как опасную заговорщицу. В сообщники ей были приписаны еще двадцать три аристократа. Всех их я рассадил по телегам – уже на следующее утро…

Впрочем, скоро и председатель Трибунала Дюма сядет в мою телегу.

Елизавету велели гильотинировать последней. Когда пришла ее очередь подняться на эшафот, она слегка содрогнулась, но пошла сама…

Она приблизилась к доске. Я хотел снять платок, покрывавший ее плечи, но она воскликнула с непередаваемой,

чудной стыдливостью:
– О, ради Бога!..

Тюрьмы переполнены. Но уже придумали, как их очистить для новых заключенных. В Консьержери и в прочие тюрьмы внедрены агенты. Они предлагают несчастным, обреченным на смерть, организовывать заговоры – будто бы для освобождения. После чего «заговорщиков» немедленно отправляют на гильотину.

18 прериаля – двадцать один осужденный за заговоры! И так – каждый день! С моими помощниками что – то происходит. Нет ни одного, кто оставался бы спокойным после казней. Лишь выпив изрядную порцию водки, они приходят в себя.

20 прериаля. Мой помощник Луве повесился. Сегодня отвез на гильотину тридцать два человека по обвинению в заговоре. По дороге я уже не слушал их разговоров, все думал, все вспоминал великие лозунги Революции – «Свобода! Равенство! Братство! Или Смерть!».

Свобода, которой, увы, давно нет; Равенство, которое видится теперь лишь во сне; Братство, которое все чаще звучит насмешкой…

Из всех лозунгов Республики не подвергается сомнению только один – Смерть!

Погибшие мечты! Хотя одна мечта все-таки стала реальностью!

С раннего детства я был убежден в правах, которые дает мне мое звание, в своем значении для общества. Я верил, что мне доверена трудная и грозная обязанность, и смотрел на пренебрежение и отвращение к своей работе как на гнусный предрассудок.

Я мечтал об иных временах! И вот они пришли. Теперь мы воистину окружены почетом, и самые знаменитые депутаты считают за честь дружить с палачом! Дело уже идет к тому, чтобы не только запретить называть нас «палачами», но поискать нам славное прозвище, достойное той роли, которую мы играем в жизни Республики! Предлагают даже назвать нас «Мстителями Народа» и одеть в подобающие костюмы. Живописец Давид на днях показал мне рисунок нашего одеяния, напоминающего облачения римских ликторов.

Можно сказать, я вкусил славы! Проезжая по улицам на своем страшном экипаже, я слышу только одобрительные клики народа! И страшные в своей ярости фанатичные революционерки, эти фурии гильотины, устраивают мне овации и считают за честь отдаваться моим помощникам!

25 прериаля. Из-за жалоб жителей улицы Сент-Оноре, которые не могут более сносить ежедневного проезда множества

наших телег, решено перенести гильотину на площадь бывшей Бастилии. Однако народ (здесь живут трудолюбивые и бедные люди) вдруг встретил нас свистом и бранью. Впервые на площади собралось ничтожно мало людей – смотреть казнь! Многочисленные агенты, которые теперь повсюду, были очень сконфужены. И уже ночью мне велели переставить эшафот на прежнее место. Неужели толпа наконец устала?! А как устал я! Как смертельно устал я!

27 прериаля. Редчайший день отдыха. Мы гуляли с племянницами за городом и столкнулись с ним. Его сопровождала огромная собака по кличке Браунт.

Дети никак не могли сорвать дикие розы – мешали шипы. И он поспешил к ним на помощь. Он был одет в голубой фрак, желтые брюки и белый жилет. Волосы его были напудрены, а шляпу он держал на конце маленькой трости.

Он сорвал розы, отдал их детям и ласково беседовал с ними, пока не заметил меня…

Я никогда не видел, чтобы так менялось человеческое лицо! Он будто наступил на змею! Его лоб покрылся испариной, улыбка исчезла. Он проговорил отрывистым голосом:

– Вы…

И замолчал. В глазах у него был ужас!

Он поспешно удалился, не глядя на меня. А я все думал, где я уже видел такие же глаза?

Я вспомнил – король! Наше первое свидание!

Да, это было не отвращение к топору, который верно служил тебе, Робеспьер! Это был твой страх. Твой ужас!

Фукье-Тенвиль стал подвержен галлюцинациям. Он рассказал одному из членов Трибунала, что Сена в лучах солнца кажется ему кровавой.

Сейчас он готовит очередной «заговор» среди заключенных. На гильотину должны отправиться сто пятьдесят четыре человека.

29 прериаля. У меня был страшный день: гильотина пожрала сто пятьдесят четыре человека! Силы мои истощились, я едва не упал в обморок… Мне показали карикатуру, которую враги Республики распространяли в городе: на эшафоте среди поля, усеянного бесчисленными обезглавленными трупами, я гильотинирую… самого себя! Если это поможет остановить кровавое безумие, я готов хоть сейчас отправиться к Господу со своей головой в руках.

Меня мучают видения. Вечером, садясь за стол, я убеждал жену, что на нашей скатерти – кровавые пятна!

Очередной организованный шпиками «заговор» доставил на мой эшафот двадцать четыре жертвы. Среди них достойны

упоминания: семидесятилетний барон Трен, герцог Креки, маркиз Монталамбер и еще один молодой человек, про которого мне сказали, что он поэт. Его звали, кажется, Шенье…

9 мессидора я прекратил записи в своем Журнале. После очередной массовой казни (это было 8 мессидора) я слег в постель. Болезнь заставила меня передать должность сыну…

Сколько дней прошло… Я снова вернулся к перу. Я ищу уединения, но оно меня пугает. Я словно жду кого-то… при всяком шуме меня охватывает необъяснимый страх. Я болен страхом…

Должность исполняет мой сын. Несчастный мой мальчик! Ежедневное число жертв теперь никогда не опускается ниже тридцати, а в страшные дни достигает шестидесяти!

Все славные фамилии прежней монархии торопливо занимают свои места на гильотине, но простого народа – солдат, земледельцев, бедняков – несравненно больше!

9—10 термидора. Сын рассказал, что председательствующий в Трибунале судья Дюма готовился отправить в мою телегу очередную партию осужденных, но вошли посланцы Конвента и объявили о его аресте. И уже на следующий день Дюма сам сидел в моей телеге…

Робеспьер, несчастный, уничтоженный, старался перекричать вопли восставшего против него Конвента, но издавал только нечленораздельные звуки.

И кто – то бросил ему:

– Это кровь Дантона душит тебя!

Он успел прокричать сквозь рев бесновавшихся депутатов:

– Разбойники, вы торжествуете!

Разбойники… Он был прав: всех честных республиканцев он давно уже отправил под мой топор.

А потом мой сын повез его в моей телеге мимо его дома на Сент-Оноре, и он смог увидеть все, что видели его жертвы, – набережные, заполненные народом, который привычно кричал: «Да здравствует Республика!» И проклинал его! И свои окна он тоже увидел – но снизу, из телеги!

Круг замкнулся. Теперь я смогу отдохнуть. Теперь действительно вся история Революции уместилась в моей грязной позорной телеге. Но страх… невыносимый, непередаваемый страх не покидает меня! Господи, спаси!

Примечания

1

Egalite – равенство (фр.).